

Василь Быков

Карьер

Глава первая

Пробуждение едва наступило, но сон уже отлетел. Агеев это понял, минуту полежав неподвижно, с закрытыми глазами, будто опасаясь спугнуть остатки дремоты.

Несколько последних дней он стал просыпаться до срока, когда еще не начинало светать и парусиновый верх палатки еще чернел по-ночному непроницаемо, а вокруг стояла мертвенная тишь, какая бывает глухой ночью или накануне рассвета. Было прохладно, он это почувствовал шершавой от щетины кожей щек, начавшей стынуть макушкой головы. За лето он так и не привык забираться в мешок с головой – вечером в том не было надобности, в палатке долго держалось дневное тепло, лишь на исходе ночи, перед рассветом, когда выпадала роса и верх палатки набрякал стылой влагой, становилось прохладно. К тому же на голове у Агеева давно уже не было того жесткого, непокорного чуба, который украшал его в молодости. С годами волосы поредели, утратили былую пышность, удлинились залысины, и голова стала чуткой к прохладе. Что ж,

все, наверно, в порядке вещей – такова жизнь.

Вставать было рановато, да и не хотелось вылезать из нагретой за ночь уютной тесноты спального мешка, и он лежал так, с закрытыми глазами, дремотно прислушиваясь к едва различимому в тишине шуму листвы на деревьях поблизости. Этот тихий, иногда мерный, иногда тревожно мятущийся шум листьев сопровождал его сон каждую ночь, порой немного затихая, но к утру обычно становясь беспокойнее и слышнее. Агеев уже свыкся с ним за лето и почти не замечал его – шум стал частью его тишины и его затянувшегося одиночества возле этого кладбища, на краю заброшенного карьера.

Поодаль за дорогой в крайних дворах поселка визгливо залаяла собачонка. Агеев знал ее, иногда та прибегала к его одинокому стойбищу, останавливалась в отдалении и наблюдала за его возней у палатки, явно рассчитывая на угощение. Агеев собак не любил с детства, и, хотя относился к ним без злобы, те всегда чувствовали его нерасположение и особенно не напрашивались на знакомство. Собачонка полаяла немного, возможно, на кошку или на птицу в саду и утихла, а Агеев стал дожидаться других звуков. Обычно раньше других в сторожке утренней тиши раздавались приглушенные пространством хриплые окрики – это хозяйка высокого, окрашенного в яркий

канареечный цвет дома отправлялась на утреннюю дойку в хлев и, похоже, вымещала на корове свое недовольство жизнью, то и дело озлобленно матерясь, чем всегда резко нарушала летний покой утра. Несколько раз Агеев видел ее за изгородью во дворе, это была не старая еще, крупнотелая, с басистым голосом тетка, одетая по утрам в заношенный ватник, с уверенными манерами домашней правительницы. Сегодня, однако, голоса ее не было слышно – наверно, заспалась хозяйка этого добротного выкрашенного дома. Слегка прислушиваясь, Агеев открыл глаза – низкий верх одноместной палатки уже явственно проступал из сумерек, обнаруживая знакомые мелочи: тесемочную шнуровку входа, размытые, непонятного происхождения рыжие пятна на парусине; в самом конце матово светилась небольшая, с гривенник, дырка, недавно прожженная выскочившей из костра искрой.

Пожалуй, надо было вставать, браться за дело. Но до того, как начать выбираться из мешка, Агеев попытался вспомнить, какое сегодня число, и не сразу, с усилием сообразил, что сегодня третье или, возможно, четвертое августа. Счет дням недели он вел исправно, привычно ощущая суточный ход времени, а вот числа... В этом деле обычно пособляли газеты, но последние дни, занятый работой в карьере, за газетами он не ходил,

транзисторного приемника у него не было, и вот сбился со счета. «Маразм, маразм», – посокрушался он мысленно. Да, память была уже не та, что в молодые годы, память иногда подводила совершенно неожиданно, и нередко требовалось усилие, чтобы вспомнить то, что, казалось, невозможно забыть. Особенно имена, названия, даты. Недавно он обнаружил, что не может вспомнить имени командира взвода, с которым выходил из окружения в сорок первом. Имя его выветрилось из памяти, помнил только фамилию – Молокович. И то хорошо.

Тем временем рассвело, в палатке стало светлее, он различил в ногах смятую за ночь болоньевую куртку, брошенное у боковой стенки пропыленное спортивное трико, литровый индийский термос на белом ремешке, который он обычно ставил подле себя на ночь, запыленные кеды у входа. Все остальное имущество было возле кострища и палатки. Когда-то, начав здесь свои раскопки, он все стаскивал на ночь в эту тесную палатку, в которой самому было тесно повернуться. Со временем же, однако, убедился, что оставленные у палатки вещи никому тут не нужны, никто ничего не трогает, и перестал прибирать. К нему тут редко кто подходил, разве случайный прохожий с поля да Шурка с Артуром – два робких с виду пацана, вроде настороженных чем-то. Обычно они

присаживались на землю возле кладбищенской ограды и издали молча наблюдали за его нехитрыми утренними или вечерними хлопотами у костра, возле чайника. Костер, конечно, привлекал мальчишек, но вот неделю назад Агеев купил в поселковом хозмаге сухого горючего в таблетках, очень удобного для его небольших хозяйственных надобностей: зажарить яичницу, разогреть гуляш или вскипятить воду на чай. Остатки горячей воды он обычно сливал в термос и в другой раз обходился совсем без огня. Иногда по вечерам в выходные и праздничные дни к карьере приходил Семен, высокий худой мужчина с единственной рукой-клевшей, которой он все время давал работу: то сворачивал сигарку, то ковырял палкой в песке, а то просто, размахивая ею в воздухе, помогал в разговоре. Обычно он был «под мухой», по крайней мере, всегда так казалось, и почти ни о чем не спрашивал, говорил и говорил о своем, что его беспокоило или о чем вспоминалось. Беспокоили его непорядки в мире, а вспоминалась война, на которой он, судя по всему, хлебнул лиха. Сперва Агеев слушал его с недоверием, что-то в нем противилось сбивчивым Семеновым излияниям, но постепенно он проникся убеждением, что все так и есть, как говорит Семен. Во всяком случае, так было. Семен не врал и даже не привирал – кажется, он не обладал нужным для того воображением,

целиком и полностью занятый воспоминаниями. Память же у него была – дай бог каждому.

Когда Агеев выбрался из палатки, уже совсем рассвело. Где-то за мощной стеной кладбищенских деревьев и поселком всходило солнце, нетоптаная трава возле обрыва матово серебрилась в росе, парусина его палатки провисла, напитавшись росистой влагой. Поеживаясь, Агеев натянул на плечи болоньевую куртку, размышляя, стоит ли делать утреннюю гимнастику или лучше согреться чаем – в термосе, должно быть, еще не остыл кипяток. С начала лета он каждое утро старался проделывать свои шестнадцать спортивных тактов, но потом, втянувшись в работу, почти забросил гимнастику, для мышц и суставов и без того хватало нагрузки в карьере. Сперва неделю или две по ночам все тело ломало от непроходившей усталости, болели руки, но вот постепенно втянулся в свою земляную работу, и боли прошли. А главное, перестал обращать внимание на разное там нытье и колотье, понимая, что надобно уметь переносить боль, тем более такую – от работы. Когда-то пришлось потерпеть похлеще – от двух ранений, одно из которых едва не стоило ему жизни. Но все-таки, наверно, он был крепкого склада, да и молодой организм тогда еще был способен на чудо. Пожалуй, чудо его и возвратило к жизни.

Агеев налил из термоса пластмассовую

кружку крепкого, уже начавшего остывать чая, выпил, стоя возле палатки. Есть с утра не хотелось, и раньше часов десяти он старался не завтракать, взяв себе за правило есть, только проголодавшись. Правда, проголодавшись, нередко обнаруживал, что поесть по-настоящему нечего: то не было хлеба, то кончилось сало, которым он запасался на несколько дней в райкооповском магазине. Сало он любил издавна, оно отлично утоляло голод; жаль, в магазине кончилось прошлогоднее, с тмином, свежее же, отливавшее нежной розоватостью на толстом срезе, было почти безвкусным, и он жарил на нем яичницу. Яички покупал у сердобольной седой старушки с концевой улицы поселка за кладбищем. Эта старушка кое-что рассказывала ему о военном и довоенном прошлом поселка. К сожалению, во время войны она жила в двух километрах отсюда на станции и не все знала, что происходило в поселке. За последние годы поселок сильно разросся и слился со станцией, а прежде их разделяло ржаное поле с дорогой, которая шла между двумя рядами тополей и сворачивала за переездом в сторону небольшого вокзальчика и нескольких станционных построек.

С лопатой в руках Агеев прошел по траве к карьере и остановился на обрыве. Как раз из-за кладбищенских деревьев выкатилось низкое утреннее солнце. Разостлав по росистому косогору

широкую тень, оно ярко высветило верхний косой край обрыва и его противоположный излом. Глубокий провал карьера весь лежал в стылой ночной прохладе, на его ископанном, разрытом дне высилась груда земли, месяц назад сдвинутая бульдозером. Этот бульдозер Агеев не без труда выхлопотал на полдня в «Райсельхозтехнике», хотя он и мало помог делу, лишь обезобразил этот заброшенный, начавший зарастать сорняками карьер. Потом, орудуя лопатой, Агеев изрядно разворотил его за лето – впрочем, без особого для себя успеха. Но все же его тайная мысль, как последняя надежда, теплилась в нем слабой искрой, и он думал: а вдруг! Конечно, бульдозер мало годился для такого рода раскопок, за какой-нибудь час он перевернул гору земли, широко сдвинув все с одной стороны на другую, и Агеев просто не мог уследить за тем, что мелькало под его блестящим стальным ножом. Теперь он надеялся лишь на лопату и со дня на день ждал, что вот-вот наконец с ее помощью откроется то главное, что стало его тайной целью, важнейшим смыслом его существования.

Вдоль по обрыву надо было спуститься к дороге, где был вход в карьер и ждала его оставленная вчера работа – подкопанный, но еще высокий бугор земли вперемешку со строительным мусором, который надо было перебросить лопатой

под высокий, обрывистый берег карьера. Но в карьере по-прежнему лежала сплошная тень, дышавшая накопленной за ночь стылостью, и Агеев знобко поежился на обрыве. Он стоял на том самом месте, где почти сорок лет назад, едва сдерживая дрожь в окровавленном теле, попрощался с жизнью в смятении и отчаянии от вопиющей несправедливости этой безвременной гибели, полураздетый и, хорошо помнил, босой. Сапоги с него сняли перед расстрелом, и ног он почти уже не чувствовал – ступни по щиколотку одеревенели в студеной, схваченной первым морозцем грязи, на которую из предрассветной темени, кружась, сыпался снег.

Агеев принялся за дело – копать и отбрасывать под обрыв мягкую, разрыхленную бульдозером землю с различным хозяйственным хламом: трухлявыми обломками досок, остатками закопченной кирпичной кладки, сваленной в карьер, видимо, после ремонта печей. Но большей частью его лопата со скрежетом врезалась в сухую слежалую щебенку с песком и гравием. Впрочем, песка тут было немного – наверное, местечковцы выбрали его еще в довоенные годы для какого-нибудь строительства, а главное, для хозяйственных нужд: ремонта печей, фундаментов, штукатурки стен. В тот страшный год, когда судьба впервые привела Агеева в это местечко, он не

выбирался из него дальше кладбища и впервые попал в этот карьер лишь в то роковое утро, которое едва не стало для него последним.

Но вот сорок лет спустя, овдовев и выйдя на пенсию, Агеев теплым солнечным днем на исходе весны приехал сюда. Сперва он даже испугался, почти не узнав местечка, ставшего за эти годы городским поселком. По крайней мере, центр его совершенно изменил свой первоначальный облик, бывшая базарная площадь расширилась до самых стен церкви, церковная ограда исчезла, с другой стороны площади выросло трехэтажное здание райисполкома; чуть поодаль, в начале улицы высилась силикатная громадина универмага, и перед ним лежал крохотный скверик – ряд чахлах деревьев, еще привязанных к кольям-опорам, с неширокой дорожкой, обрамленной поставленными на уголок кирпичами. Короткая эта дорожка вела к памятнику – бетонному обелиску в решетчатой железной оградке, с широкой мраморной плитой на лицевой стороне. Маленькая дверца в оградке была не заперта, и, наверно, туда можно было пройти, на узком бетонном подножии лежало несколько увядших гвоздик в разворошенном ветром целлофане. Но цветами Агеев не запасся и заходить туда не имело смысла. Вцепившись руками в заостренные наверху ограды, он зашарил глазами по плотным столбцам фамилий. Он уже знал про

этот обелиск в поселке, ему рассказывали наезжавшие сюда знакомые; однажды писал в райисполком и получил ответ, что подпольщики тоже захоронены здесь. Теперь без труда нашел их фамилии – неглубоко высеченные на камне в самом конце этого скорбного списка. В отличие от остальных они были обозначены без воинских званий, так как, наверное, и не имели никаких званий, за исключением разве что Молоковича.

Ее же здесь не было.

Но почему ее не было? Разве она выжила? Или погибла где-либо не здесь, может быть, в немецком концлагере, вывезенная из местечка? Конечно, тогда все могло быть, но четыре десятка лет Агеев прожил в уверенности, что она также не избежала их общей участи. По крайней мере, страшные события той осени ни для кого не оставляли надежды, все они были обречены, и только он по счастливой случайности увернулся от смерти. Но две случайности в их положении – это было бы уже чудом, во вторую он не в состоянии был поверить. И ему казалось, что тут утвердилось недоразумение, что ее просто не нашли, а возможно, и не искали. Ведь о ней знал только он один. Ну и, конечно, полиция, которая все и раскрыла. Но у полицаев теперь не спросишь, а документов не найдешь. Они умели прятать концы в воду.

Оставалось обратиться к людям.

Отойдя от памятника, он огляделся. Площадь изменилась до неузнаваемости, но церковь осталась, и она помогла ему сориентироваться. Дальше следовало повернуть в переулок и пройти улицей вниз. Стараясь приглушить тревогу в душе, Агеев скорым шагом отправился из центра к окраине, прежде всего на Зеленую, хорошо известную ему улочку, застроенную обычными деревянными домиками с крошечными огородами и садами, упиравшимися в глубокий овражный провал с ручьем и старыми деревьями на склонах. К его большой радости, здесь почти ничего не изменилось, разве что некоторые из домов заметно обветшали, другие же после ремонта нарядно желтели свежеокрашенными стенами. В самом начале улицы на углу высился домище о трех окнах по ошалеванному фасаду, под громадной, на немецкий манер срезанной по углам гонтовой крышей. Едва справляясь со все усиливающимся биением сердца, Агеев направился в конец этой коротенькой улочки, еще издали узнавая знакомый латаный гонт на крыше Барановской, в доме которой он провел некогда почти три месяца своей жизни.

Всплеск его радости, однако, стал опадать по мере того, как он пыльной обочиной подходил к этому дому – взору его предстали явные приметы

заброшенности: длинные горбыли на окнах, выходявших в крохотный палисадничек при улице, боковое окно из кухни чернело сплошь разбитыми стеклами, калитки тут не было и раньше, и некогда уютный, вымощенный мелким булыжником дворик с канавками для стока воды густо зарастал сорной травой. Дом был давно покинут и, видать по всему, тихо умирал на ушедшем в землю щербатом фундаменте. Может быть, один только сад при нем мало изменился за четыре десятка лет, хотя постепенно дичал в небрежении, а большого старого клена напротив входа на кухню уже не было вовсе, как не было и беседки-повети по другую сторону дворика.

Не заходя во двор, Агеев оглянулся на улицу, узнавая и не узнавая ее малоприметные подробности. К несчастью своему, он совершенно забыл соседей, помнил только, что в доме напротив жил дядька – молчаливый, не старый еще мужик, Барановская иногда обращалась к нему по хозяйству, вроде бы даже он приходился ей родственником. Вспомнив о нем, Агеев перешел через улицу и толкнул невысокую дощатую калитку. Навстречу ему из замызанной конуры с бешеным лаем взвился верткий лохматый пес. И тут же из пристройки рядом с крылечком выглянула тоненькая женщина в вылинялом голубом сарафанчике.

– Здравствуйте, – как можно дружелюбнее сказал Агеев, глядя в ее молодое, отчужденно недоумевающее лицо, и замолчал, не зная, как начать разговор. Очень не простой предстоял разговор, но женщина не унимала пса и не предлагала зайти, она выжидала, что скажет захожий. – Не скажете, вон напротив жила Барановская...

Стоя в распахнутой двери, женщина пожалала загорелыми плечиками и низким, вроде заспанным голосом крикнула в дом:

– Виктор, выдь! Тут какую-то Барановскую спрашивают.

– Кто спрашивает? – глухо донеслось из дома.

– Ну выйди! Кто, кто...

Из двери высунулся молодой человек в белой майке с разогретым паяльником в руках, от которого еще струился в воздухе дымок, он прикрикнул на собаку, и та сразу замолкла. Женщина проскользнула мимо в дверь дома, откуда слышался нетерпеливый младенческий плач.

– Хотел спросить: соседка ваша Барановская, что напротив жила, – прерывающимся от волнения голосом напомнил Агеев. – Она... Судьба ее какая?

– Барановская? Какая Барановская? Тут раньше Валюки жили, выехали на целину. Года три или четыре тому.

– Валюки... А вы... Простите, сколько вам

лет? – с растерянной улыбкой спросил Агеев, начиная понимать что-то.

– Мне? Ну двадцать восемь. А что?

– Да так, ничего, – все враз поняв, ответил Агеев. – Извините, я тут, знаете, напутал.

– Да? Ну бывает...

Он прикрыл за собой калитку и побрел по улице, ясно сообразив, что двадцативосьмилетний Виктор родился в конце пятидесятых годов и, конечно же, еще до его рождения в доме Барановской могло смениться не одно семейство жильцов. Вот если бы встретить кого из старожилов, довоенных обитателей этой улицы, уж от них, наверно, можно было бы узнать побольше. Агеев оглянулся – белая майка Виктора все еще виднелась во дворе, и он вернулся к калитке.

– Я извиняюсь, скажите, а тут, на вашей Зеленой есть кто-нибудь из стариков? Что тут до войны жили?

– А кто их знает, – насупился Виктор и, вдруг что-то вспомнив, потрянул светлой волосатой головой. – Супрунчук, может...

– Да что Супрунчук! – перебила его появившаяся на крыльчке жена с запеленатым младенцем в руках. – Супрунчук твой с праздника не просыхает. Вон лучше Поддубского спросите, он должен знать.

– А где это? – оживился Агеев.

– Да вон третья хата от угла. «Жигуль» там синий стоит, – охотно объяснил Виктор.

Скорым шагом Агеев направился вдоль улицы и действительно во дворе третьего от угла дома увидел синий «Жигуль» с настежь распахнутыми четырьмя дверцами, раскрытым багажником и поднятым капотом. Возле него хлопотал не старый еще мужчина в темно-синем спортивном трико.

– Здравствуйте!

– Добрый день, – поднял озабоченное лицо мужчина и выжидательно уставился в него.

– Мне Поддубского, – пояснил Агеев, едва сдерживая нетерпение.

– Ну я Поддубский, – сказал мужчина и выпрямился с гаечным ключом в руке.

– Нет, знаете... Мне... чтоб постарше.

– Постарше? Отца, что ли? Так отец на рыбалке. Выходной все же, запрет только сняли. Я вот тоже собрался, да эта холера закапризничала.

– А отцу сколько лет? – спросил Агеев, опять настораживаясь. Упоминание о рыбалке как-то не вязалось в его представлении с пожилым возрастом отца.

– Лет? Пятьдесят пять вроде.

– Да...

– А что, мало? Так у нас тут имеется и постарше. Дед! – позвал мужчина, обернувшись. Но на дворе больше никого не было. – Где же он?

Только сейчас выходил...

Мужчина прошел за угол дома, где начинался ряд недавно отцветших деревьев с побеленными стволами, между которыми лежали прополотые, политые с утра грядки.

– Дед, тебе сколько лет?

Ответа оттуда не послышалось, и Агеев тоже прошел за угол. С тыльной стороны дома на скамейке под кустом отцветшей сирени сидел глубокий старик в истоптанных валенках на тощих ногах. Сосредоточенно уставясь перед собой, он, похоже, находился во власти своих старческих дум и никак не отреагировал на их появление, только вскинул на Агеева рассеянный взгляд.

– Вот хочу спросить вас, – бодро начал Агеев. – Вы давно тут живете?

– Да он тут всю жизнь. Тут и родился, – охотно объяснил мужчина.

– Может, помните, тут на Зеленой Барановская жила?

– Была Зеленая, – подсказал сзади мужчина. – Теперь Космическая.

– Переименовали?

– В который раз. После войны была Танкистов. Потом Пекинская. Теперь Космическая.

Старик на скамейке как-то странно закачался вперед-назад, задвигал свешенными между колен жилистыми кистями рук.

– Барановская, Варвара... Немцы застрелили.

– Застрелили? Вот как!..

– Застрелили. На станции. Помню, как раз на зимнего Николу. Я еще дрова возил...

Это хотя и не было ошеломляющим для Агеева, который давно предполагал именно такой исход, он все же испуганно подумал: за что? Уж не из-за него ли? С щемящей болью в душе он постоял молча, будто дожидаясь, что еще скажет старик. Но старик молчал, размышляя или в ожидании новых вопросов.

– А еще, может, знаете, – с надеждой начал Агеев, – тут где-то на соседней улице жил один человек, жестянщик или слесарь, он еще в войну терки из жести мастерил, зерно тереть...

– Лукаш?

– Может, и Лукаш, не помню. Так у него на квартире учительница была приезжая. А с ней сестра жила...

Сказав это, Агеев почувствовал, что приблизился вплотную к тому главному пределу, к которому шел столько лет, и сейчас, наверно, услышит свой приговор. Надо было собраться с силами, чтобы выдержать его, каким бы он ни был.

– Лукаш мастеровой был, ага... Умел по дереву и по металлу. Мне еще рамы после войны делал. Мастеровой был, ага...

Лицо старика на короткий момент

просветлело, он оторвал взгляд от земли и повел им в сторону Агеева. Агеев разочарованно выдохнул и переступил с ноги на ногу – сесть тут было не на что.

– Мастеровой... Помер. Давно уже.

– Так учительница квартировала у него...

– Что? Учительница? Можя, и была.

– А вы не помните, дед?

– Учительница? – повторил, помедлив с ответом, старик. – Не, не помню.

Почти убитый этим визитом, Агеев вышел на улицу. Потерянно побродив по одной и по другой стороне, еще раз зашел в заброшенный, зарастающий сорняками двор Барановской, узнавая и не узнавая обветшалые стены ее дома, подгнившие, выкрошенные углы, покосившиеся простенки. Он обошел хлев, сараи за дровосекой, поросшей густой, по колено лебедой, заглянул в огород с тыльной стороны усадьбы и не увидел там пристройки-сарайчика, который, наверно, давно уже разобрали на дрова, – по самую стену дома шли ровные борозды дружно взошедшего картофеля. На глаз он отметил то место, где стоял его топчанчик и где была дыра в стене, возле которой под камнем он прятал свой пистолет «ТТ». Кто-то, наверно, нашел, если в свое время пистолет не подобрала полиция.

Вернувшись во двор, издали посмотрел на сад, который, оказывается, тоже не пощадило время –

старые яблони медленно по одной умирали, теряя отсохшие суки и ветки; кусты смородины и крыжовника, некогда отделявшие сад от двора, вывелись начисто, на меже огородов над тыном чернело голое сучье нескольких засохших вишен, очень памятных ему с того лета. Теперь он даже не подошел к ним. Всем его существом овладевало гнетущее ощущение неудачи. Чтобы как-то справиться с ним, он еще прошел в конец улицы, мимо высокого дома с немецкой крышей, перешел на следующую. С новой надеждой встретил пожилую женщину с сумкой и сразу спросил, не помнит ли она Лукаша-жестянщика. Женщина устало опустила наземь тяжелую сумку, доверху набитую хлебом, поправила пеструю косынку на голове.

– Как же, был Лукаш, Ванькович его фамилия. Помер после войны.

– А у него учительница перед войной на квартире жила.

– Учительница? Была, кажись, пригоженькая такая. Вот не помню, как звали...

– Вера, – с воспрянувшей радостью подсказал Агеев.

– Можя, и Вера, не помню вот.

– А что с ней дальше случилось, не вспомните? К ней еще сестра перед войной приезжала. Мария.

Женщина наморщила и без того морщинистое переносье, всмотрелась в дальний конец улицы, по которой уже грохотала «Колхида» с прицепом.

– Не знаю. Помню, вроде была молодая девушка. Недолго пожила. А куда делась?..

– После войны не объявлялась?

– Не знаю...

Агеев еще прошелся несколько раз по этой и по соседним улицам и, совсем было отчаявшись, подошел к двум мужчинам, болтавшим возле калитки. Один из них стоял по эту ее сторону, а другой, худой и высокий, – по ту, оба курили и о чем-то развязно беседовали, то и дело грубовато посмеиваясь. При обращении к ним, однако, умолкли и, выслушав Агеева, худой и высокий из-за калитки радостно оживился.

– Знаю Марию, в Менске живет. Окончила иняз, теперь работает в школе.

– Вот как! – ошарашенно сказал Агеев. – И давно окончила?

– В семьдесят восьмом, хорошо помню. Я поступал, был конкурс громадный, ну и срезали. А она заканчивала.

Агеев враз помрачнел, прикидывая в уме, сколько же ей могло быть в семьдесят восьмом. Нет, что-то поздновато было ей в пятьдесят лет кончать институт. Вряд ли это она.

– Простите, а какого она возраста?

– Возраста? Да моя ровесница. Вместе в школу ходили. Только я еще армию отслужил... А что, не та, значит?

– Не та, – сказал Агеев уныло, кивнув на прощание мужчинам.

Он и еще спрашивал: у случайных уличных встречных, выбирая тех, кто постарше, подходил к пожилой продавщице киоска «Союзпечать», несколько раз забредал во дворы; если видел кого-нибудь с улицы. Некоторые легко вспоминали Лукаша, помнили Барановскую, очень немногие вспоминали учительницу Веру Адамовну, но никто толком не мог рассказать что-либо о ее сестре. Вроде приезжала, недолго пожила у сестры, а куда девалась? Этого никто не знал. Оно, пожалуй, и неудивительно, прошло ведь столько времени. Здесь уже немного осталось тех, кто мог вспомнить довоенного секретаря райкома Волкова, погибшего в сорок третьем на Могилевщине, – как-то Агеев читал о нем очерк в газете. Но Волков что – Волков все-таки был комиссаром бригады, а не безвестным подпольщиком, он не мог затеряться.

И она, по всей вероятности, погибла. Но где и когда?

Много бессонных ночей провел Агеев, думая об этом, но каждый раз заходил в тупик. И все его попытки узнать что-нибудь о судьбе Марии с помощью архивов, запросов по различным

инстанциям заканчивались столь же тупиковыми ответами вроде: «не числится», «не значитя», «сведений не имеется». А ведь по прошествии стольких лет единственной возможностью в его поисках стали документы, списки, архивные справки, в которых было многое, но, увы, ничего не было о ней. Впрочем, если подумать, то ничего и не могло быть. В ту памятную осень они больше всего на свете опасались документов, списков, записок, даже случайно оброненной бумажки, которая запросто могла стать уликой. А о посмертной памяти или отражении в истории кто тогда думал? Путь в историю для них был перекрыт ежедневной опасностью, перебраться через которую зачастую было невысказано. Все последние годы, рассылая письма с запросами, обращаясь в архивы и расспрашивая людей, Агеев понимал, что не столько жаждет узнать о ее судьбе, сколько обмануть себя, избежать последнего, невозможного для него ответа. Этот ответ мог нести в себе самый страшный итог...

Но вот, кажется, пришел конец всем иллюзиям, никто о ней ничего толком не знал, она действительно исчезла той осенью сорок первого года.

Оставалось единственное.

Приехав в этот поселок, он поселился в крохотной поселковой гостиничке возле бани, где в

квадратной комнатухе с раковиной и умывальником стояло шесть тесно составленных коек, на которых почти каждую ночь менялись жильцы – проезжие, уполномоченные, шофера. И только он в течение недели занимал угловую, с пружинистой сеткой койку, и, когда его спросила заведующая, сколько он еще будет здесь жить, он не сразу ответил. Он не знал, надолго ли еще придется ему задержаться в этом поселке, конец его дела даже не просматривался, но в районе созывалось какое-то совещание, и в гостинице потребовались свободные места. Его не выселяли, хотя и могли это сделать, только поинтересовались сроком его выезда, но этот вопрос располневшей от сидячей работы заведующей с золотыми перстнями на всех пальцах рук был облечен в столь явное недружелюбие, что он, подумав, ответил: завтра. В тот же день после обеда, наскоро перекусив в буфете, он зашел в универмаг, в отделе спортивных товаров купил одноместную брезентовую палатку, спальный мешок, кое-что из туристических мелочей, потратив на покупку большую часть своих денег, и перетащил все за кладбище, поближе к карьере. Тут оказалось не хуже, чем в той суетной гостинице, по крайней мере, тут он был в абсолютном покое, наедине с собой и своими невеселыми мыслями – что может быть лучше в его далеко не молодые уже годы!

Поднявшееся солнце давно висело над разрытым карьером, наступило жаркое время дня, Агеев скинул наземь куртку, то и дело оттягивая ворот трико, обдавая разгоряченную грудь душным застоялым воздухом. В карьер почти не задувал ветер, от нагретого глинистого обрыва дышало печным жаром. Агеев перебросал лопатой полпригорка земли, то и дело откидывая в сторону различные обломки, ржавые жестянки, черепки, однако того, что можно было бы отнести к сколько-нибудь отдаленной давности, не попадалось. Может, и правильно говорили ему в исполкоме, что тут ничего не осталось, тела расстрелянных перезахоронили летом сорок четвертого, сразу после освобождения, и что их было там трое. Все мужчины. Ни одной женщины там не было. Когда же он поинтересовался, как различили тела после их почти трехлетнего пребывания в земле, ему не ответили. А одна тетка, уборщица при гостинице, с которой он как-то завел о том разговор, сказала просто:

– Какой там отличали! Собрали косточки да разложили на три гроба. Какой там отличали...

Все-таки он установил с помощью очевидцев, что не просто собрали косточки, что там были врачи и некоторые останки даже опознали родственники. Во всяком случае, с определенной долей вероятности на ошибку тела были

идентифицированы, и среди трех ее тела не было.

Но где же тогда она?

Конечно, и без того она могла десять раз умереть во время и после войны, ее могли отправить в какой-нибудь из концлагерей, которые у немцев были во множестве. Но все это лишь в том единственном случае, если она не осталась здесь, в этом карьере. И он не мог предположить иного исхода до тех пор, пока воочию не убедится, что ее косточек здесь не осталось, что их не завалило рухнувшим весной сорок второго западным обрывом карьера. Проклятая эта яма тридцати шагов в поперечнике, которую лишь с натяжкой можно было назвать карьером, тем не менее умела хранить свои тайны, она отобрала у Агеева большую часть лета, столько труда, пота, так ничего и не прояснив для него.

И все-таки он не помышлял сдаваться, капитулировать перед этими бесформенными горами слежалой щебенки, он перелопатит ее по верху, но или найдет то, что ищет, или удостоверится, что ее тут нет.

Если ее тут нет, тогда у него останется надежда – слабенькая, запутанная ниточка, возможно, ведущая к жизни из этой проклятой ямы, в будущее, а может, и в вечность... Горячий юго-западный ветер, весь день иссушающе дувший на летнее пространство полей, к вечеру заметно

утих; клонившееся к закату солнце в подернутом реденькой дымкой небе утратило свою пылающую пруть и не пекло, как прежде. В куцей тени жиденького куста шиповника на меже ржаной, истоптанной скотом и человеческими ногами нивы стало прохладнее и, в общем, терпимо, если бы не донимавшая Агеева жажда. В который раз старший лейтенант поднес к губам обшитую войлоком трофейную флягу, встряхнул – единственная капля из нее упала на его небритый подбородок и щекочуще скатилась за расстегнутый воротник гимнастерки. Ни во фляге и нигде поблизости воды не было. Наверно, с полдня он лежал здесь на разостланной, со следами засохшей крови телогрейке и томился в тягостном ожидании, которому, казалось, не будет конца. Сначала усилием воли он подавлял нетерпение, стараясь думать о чем-нибудь постороннем, но постепенно его все больше разбирала злость на этого Молоковича – уж не забыл ли он его тут, в каком-нибудь километре от местечка. Раздражение это, однако, скоро убывало при мысли, что нет, не забыл, не затем он вел Агеева столько, чтобы бросить вблизи от цели. Впрочем, Агеев понимал, что сам Молокович рисковал сейчас наверняка больше: не так просто было среди бела дня появиться на местечковой улице, не нарвавшись на немцев или полицию. Агеев ему говорил: не спеши,

давай пересидим в поле до вечера, а вечером, как стемнеет, пробраться в местечко, наверное, будет проще. Молокович соглашался, но поступил по-своему – видно, не хватило терпения дождаться вечера. Конечно, он знал тут каждую тропку, каждый закуток и переход, но и его тут знала, пожалуй, каждая собака, которая теперь с легкостью могла выдать полиции.

Время от времени Агеев нетерпеливо поднимался и, стоя на одной ноге, опершись на винтовку, выглядывал из-за спутанных, склоненных к земле стеблей переспелой ржи. За рожью и широко раскинувшимся полем картофеля виднелись окраинные домики, заборы и изгороди, местами скрытые начавшей жухнуть от засухи, но все еще густой летней зеленью садов и огородов. Поодаль, в глубине этого селения маячило в безоблачном небе два желтых купола церкви, возле них белело какое-то узкое строение с островерхой черепичной крышей, похожей на пожарную каланчу, что ли. В стороне, на окраине, высилась тесная группа громадных старых деревьев – возможно, на месте какого-нибудь имения или кладбища. Оттуда по невидимой за посевами дороге выехала телега с двумя седоками, и резвый гнедой жеребенок то забегал вперед, то отставал, с игривой радостью догоняя телегу. Молоковича нигде не было. Агеев раздосадованно опустил на измятую

телогрейку, поудобнее устраивая раненую ногу, которая к вечеру стала болеть сильнее. Прошло уже немало времени после ранения, а осколочная рана выше колена заживала плохо, сильно досаждала в ходьбе, особенно болела ночью, и Агеев со все большей тревогой думал: не остался ли там осколок? Если остался осколок, то его дело плохо, с осколком рана вряд ли затянется, будет гноиться, еще приключится гангрена, тогда придется ему сыграть в ящик. Спустив до колен брюки, он ощупал намокшую повязку, от которой шел дурной, тошнотворный запах. Надо было перебинтовать ногу, но бинтов у них не было, вчера он разорвал на куски последнюю тряпку из линялого ситца в синий горошек. Это была женская кофточка, наверное, той остроглазой молодки, что хозяйничала на лесной сторожке километрах в тридцати отсюда. Когда они с Молоковичем, свернув с полевой дороги, подошли к этой сторожке, их встретил бешеный лай рыжей дворняги, долго из дома за тыном никто не показывался, а потом вышел мрачного вида, заросший черной бородой старик, и они попросили напиться. С этой просьбы они начинали всегда, когда приходило время позаботиться о пропитании или ночлеге, и по тому, как им выносили воду, решали и все остальное. Недовольный, сумрачный вид чернобородого деда не внушил им доверия, и Агеев моргнул Молоковичу раз и второй – мол,

пойдем, чего дожидаться? Но тут на крыльце появилась молодая, не здешнего вида женщина в легкой кофточке, по-городскому на затылке повязанной косынке, она вынесла большую медную кружку холодной воды, которую они по очереди выпили до дна, и Агеев завел с молодкой разговор на тему «поесть». Молодка сдержанно пригласила их в дом, дед придержал рвущуюся дворнягу, и они вскоре оказались в прохладной обжитой горнице со свежевывытым полом из новых сосновых досок. Переступив порог, Агеев приятно удивился обилию цветов, роскошно зеленевших на подоконниках, табуретках, по углам и скамьям, густо заставленным горшками, словно в цветочной лавке, в которую он однажды забрел в Белостоке. Их накормили ячменной кашей на сале, напоили молоком, Агеев не прочь был заночевать тут и уже начал заигрывать с молодкой. Вдруг в ответ на какую-то его невинную шутку та невпопад зарыдала, да так безутешно горько, что оба они опешили. Когда она выбежала из хаты, суровый чернобородый дед объяснил: «Вот мужа ее... сына мово... убили. А она из России».

Ночевать они там не остались, у Агеева пропало к тому желание, а Молокович рвался к своим – оставалось три последних десятка километров, и его трудно было уговорить на отдых. Немцев в этом болотисто-равнинном краю не стало

слыхать, по-видимому, фронт прошел стороной, и они отправились в путь – до заката солнца прошли еще километров восемь и заночевали на краю березняка. Прошли, в общем, немного, но на большее и не рассчитывали – они порядком уже выдохлись. Поначалу, когда прорывались из окружения и пытались догнать линию фронта, шли день и ночь, отдыхая по часу в сутки, и просто валились на ходу без сна и с усталости. До перехода через железную дорогу их группа насчитывала пятьдесят семь человек, командовал ею майор из управления армии, бравый вояка с черными косматыми бровями, он торопил их, как только было возможно, чтобы догнать своих или перейти линию фронта. Но линии нигде не было, топографическая карта из двух листов у майора кончилась, и однажды в сумерках они наткнулись на какую-то моторизованную немецкую часть, которая своими вездеходами, мотоциклами и грузовиками запрудила всю окрестность. Им следовало бы повернуть назад или взять в сторону, в обход, но майор попер напролом, они ввязались в затяжной безуспешный бой на подступах к какой-то деревне, немцы тем временем подтянули силы и устроили такой тарарам, что из всей группы, наверно, только их двое и осталось, и то лишь потому, что они вовремя поняли промашку и ускользнули из-под немецкого огня в сторону. К

утру они оказались на краю широкого, поросшего лозняком болота вдали от дорог, немцев тут можно было не опасаться, и оба почем зря стали честить майора, так глупо погубившего группу. Особенно зол был Молокович, которого ночью ранило пулей в плечо. Правда, рана была пуляковой, пуля прошла по касательной, но все же рука болела и мешала как следует управляться с оружием. Агеев со своей недельной давности раной едва терпел после такой передраги, идти мог с трудом, и тут они окончательно поняли, что фронта им не догнать. Именно тогда Молокович предложил круто свернуть к югу и пробиваться в знакомые места, к родному местечку, где у него оставалась мать с двумя малолетними детьми. А там будет видно. Агеев поначалу заколебался. Не очень ему подходило такое спасение, все-таки шла война, они были командиры, хотя и раненые, и отбившиеся от своей разгромленной части, но все же... «Смотрите, как хотите, – не очень настаивал Молокович. – А то как бы в плен не загреметь». Пленных они уже видели на шоссе под Лидой, сами чудом избежали плена, как-то увернувшись от немецких автоматчиков, прочесывавших поле боя, и Агеев решился. В тот же день свернули в сторону этого местечка.

Далеко над лесным горизонтом, закутанное в багряную дымку, заходило красное солнце, на поле

стало прохладнее, жажда чуть убыла, а дрема, с которой Агеев изо всех сил боролся под этим кустом, прошла без остатка. Теперь он не боялся уснуть, он чутко прислушивался к редким малопонятым звукам, доносившимся сюда из местечка. Молодой женский голос несколько раз нараспев повторял что-то, и он догадался: это звали домой ребят. Однажды звучно крикнула низко пролетавшая утка, и он встрепенулся от испуга – так измучился за день в тиши и ожидании. Близко раздавшийся протяжный коровий рев заставил его осторожно выглянуть из стеблей – по дороге к местечку гнали небольшое стадо из десятка разномастных коров. За стадом поднималось облачко пыли, давшее Агееву понять, что там проходила гравийка или большак, проселок бы так не пылил. Но за полдня там не видать было ни одной машины, и Агеев подумал: а вдруг немцы еще не добрались до этого местечка? Может, их там еще и нет. Это было бы здорово, в таком случае им бы наверняка повезло. Вот только куда запропастился Молокович?

С Молоковичем они были из одной части и перед самой войной недолго служили вместе. Такая была служба у старшего лейтенанта Агеева, особенно в тревожные недели кануна войны, что он мало находился в полку, разве заскакивал на нечастые полковые совещания, а больше пропадавал

на складах боепитания, своем и дивизионном, обеспечивал полк боезапасом. Работы у начбоя было по горло. Несколько видов патронов к стрелковому оружию, ручные гранаты всех марок, снаряды к полковым пушкам, винтовки, пулеметы, запчасти и ремонтная техника – все это перестраивалось, переиначивалось, реорганизовывалось на ходу, по-новому, согласно новым инструкциям и указаниям. Времени же на все было в обрез, штабы и командиры понимали это и спешили, не ведая ни сна, ни отдыха. Кровь из носа, а было приказано назапасить три БК¹ для всего вооружения и пять БК для противотанковых пушек. Наличные склады не вмещали всю пропасть штабелей и ящиков, приходилось строить временные хранилища, возить за много километров строительные материалы, людей. Лейтенант Молокович прибыл в полк за три дня до начала войны после ускоренного выпуска из военного училища и был назначен командиром батальонного взвода связи. По службе в полку Агеев с ним почти не встречался, разве что несколько раз видел его во время полковых построений, этого тонкошеего лейтенантика в новеньком командирском обмундировании, с хрустящей портупеей через

¹ Боекомплект.

плечо. И уж никогда не думал начбой, что военная судьба сведет их вместе, да еще в такой горький час. Конечно, Агеев понимал, что он представляет собой немалую обузу для этого быстрого молодого лейтенанта, которому без него, наверное, повезло бы больше, он мог бы делать и по шестьдесят километров в сутки и, может, давно бы достиг линии фронта. Но он не мог оставить раненого Агеева, поддерживая его в пути, заботился о ночлеге и пропитании, сам едва смирив свое молодое нетерпение. Агеев видел это, молчал и, в общем, был благодарен своему младшему другу.

Молокович пришел уже в сумерках. Агеев, не скрываясь, стоял во ржи, опершись на винтовку, и, услышав поблизости торопливые шаги, сделал попытку присесть. Но в тот же момент, закрытый по пояс рожью, откуда-то сбоку вынырнул Молокович.

– Фу ты!.. Думал, не дождусь, – сказал Агеев с явным облегчением и почувствовал, как сразу расслабился после продолжительного тревожного напряжения.

– Так, понимаете, в притемках лучше. Безопаснее, сами понимаете.

Молокович остановился перед Агеевым, устало сдвинул с потного лба непривычную, с длинным козырьком кепку; на нем уже был куцый поношенный пиджачишко со сморщенными

бортами, какие-то вытянутые на коленях портки и калоши на босу ногу. Заметив, что Агеев оглядывает его, Молокович сказал:

– Переоделся. Чтоб лишне глаза не мозолить.

– А как немцы? – спросил Агеев о главном, что его сейчас беспокоило.

– Никаких вам немцев. Приезжали и поехали. Правда, полицию поставили.

– Вот как! И много?

– А черт их знает. Но есть. Школу и амбулаторию заняли. Это возле церкви.

– А пройти как?

– Да уж пройдем как-нибудь. И это... Понимаете, – Молокович отвел глаза, огляделся, и Агеев понял: что-то у него не заладилось. – Понимаете, у меня не очень... Ну, сосед в полиции. Так мы вам другое место сосватали. У тетки одной...

Агеев с облегчением вздохнул – у тетки так у тетки, ему главное, чтобы подлечить рану, долго он тут не задержится. Все-таки положение их было неопределенным, с непредсказуемыми последствиями, и он старался много о том не думать. Главное, чтоб куда-нибудь скрыться, заползти в подходящую конуру, зализать раны, с которыми оба они не вояки. А потом будет видно. Потом они подадутся к фронту.

– Про фронт не слышать?

– Говорят разное. Немцы передали, что уже Москву взяли, – неохотно ответил Молокович.

– Ого! Куда хватили!

– Всякое говорят. Но толком никто ничего не знает.

– Да... Ну что ж, пошли?

– Погодите, – бодрее сказал Молокович. – Понимаете, с оружием не годится. С оружием остановят и... сами понимаете.

Агеев молчал, что он мог сказать? Конечно, попадаться с оружием ему не хотелось, но и расставаться с ним в такое время тоже было непривычно и боязно.

– Надо запрятать, – сказал Молокович. – Вот хотя бы и здесь. А что, куст – приметно.

– В земле?

– В земле, конечно. У меня вот холстина, завернем. На пока...

Агеев помолчал, подумал. Для него, который всю службу пекся о чистоте и исправности оружия, зарывать сейчас в землю винтовки было против совести. Но он вспомнил, сколько их осталось на полях боев, на складах и базах, захваченных немцами, и только вздохнул.

Широким немецким тесаком он вырыл узкую канавку на самом краешке ржи под межой. Молокович обернул холстиной две винтовки – нашу, образца 91/30 года и новенькую немецкую с

поцарапанной ложей, – они устроили их в ямке и уже в темноте засыпали сверху землей. Потом утоптали землю ногами, забросали травой.

– Ну а пистолеты уж мы как-нибудь, – сказал Молокович.

У них было два пистолета – наших вороненых «ГТ» с пластмассовыми накладками на рукоятках. Днем, уходя в местечко, Молокович свой оставил Агееву, а теперь подобрал с телогрейки и сунул в карман брюк. Потертую кожаную кобуру, размахнувшись, забросил подальше в картошку.

– Пошли!

Агеев подхватил телогрейку и, сильно хромя, пошел за товарищем. Уже вовсе стемнело, вокруг в притуманенном пространстве поля было полно непонятных пятен и теней, вызывавших неясную тревогу в душе. Но Молокович уверенно шел по картофельной борозде впереди, Агеев старался от него не отстать. Но все-таки отставал, больная нога плохо слушалась и все время задевала за разросшуюся картофельную ботву, он оступался, не попадал в борозду и злился на себя, не решаясь окликнуть товарища.

Уже в совершенной темноте они подошли к крайним домам местечка, свернули на стезжку. Где-то во дворах между деревьями посверкивал красный огонек и расходился щекочущий ноздри запах подгоревшей картошки, который напомнил

Агееву, как он давно хочет есть. Но до еды, наверно, было еще далеко. Низко нагнувшись, они пролезли между двумя витками колючей проволоки и пошли по заросшей тропинке мимо чьей-то усадьбы с длинным дощатым забором, потом прошли берегом ручья под деревьями и в конце огородов вышли к дороге. Далее следовало перейти на ту сторону. Там домов больше не было, справа лежало темное поле, а впереди пучился разрытый пригорок, и Агеев не сразу рассмотрел в нем тот самый карьер, который потом сыграет столь роковую роль в его жизни. Но это гораздо позже, а в тот раз Агеев едва заметил его в темноте, они прошли вдоль каменной ограды кладбища под хмуро молчавшими в ночи деревьями и снова спустились по огородам в низкое сыроватое место, похоже овраг, заросший ольхой и орешником.

– Осторожно, держитесь за жердку, – предупредил Молокович, сам с осторожностью ступая на узкую доску кладки. Агеев благополучно перешел за ним через черный, шумевший внизу ручей и узенькой, потерявшейся в лопухах тропинкой на меже двух огородов вошел под низко нависшие ветки деревьев. Рядом темнели крыши каких-то построек.

– Так... Пойдите тут.

Почувствовав, что их путь подходит к концу, Агеев вздохнул и с облегчением расслабил ногу.

Молокович ненадолго исчез, и погода в отдалении послышался тихонький стук в окно, потом несколько невнятных слов. И вот он уже взял Агеева за руку и в крошечной, непроницаемой темноте куда-то повел через двор. Похоже, однако, они очутились в сарае, наткнувшись на что-то громоздкое, перелезли через высокий порог распахнутой двери. По-прежнему вокруг было совершенно темно, пахло душной смесью сарайной затхлости и сена или, возможно, каких-то сушеных трав и еще чем-то, чем пахнет обычно в старых непроветриваемых помещениях.

– Вот, идите сюда...

Наткнувшись в темноте на Молоковича, Агеев нащупал возле себя что-то похожее на топчан и устало опустился на шуршащий сенник, покрытый жесткой дерюжкой.

– Ну вот и добро. Тетка Барановская накормит.

– Ладно. Спасибо...

– И не беспокойтесь. Все хорошо будет.

– Ну что ж...

Тетка, похоже, также находилась тут, но она не произнесла ни слова, и Агееву стало неловко – все-таки хотелось знать, как она отнесется к такому постояльцу. Ведь могла и не согласиться, и запротестовать или хотя бы затаить недовольство в душе. Но тетка молчала, и Молокович тихо

спросил, обращаясь в темноту:

– Поесть найдется чего?

– А там стоит, – послышался немолодой сдержанный голос, который вовсе не развеял опасений Агеева, скорее усилил их, таким он казался сухим и даже раздраженным.

– Ах, вот тут... Хлеб, огурцы. Вот перекусите... Ну так лежите. На днях повидаемся, – тихо сказал Молокович.

– Добро.

– Так до свидания, начбой!

Как-то совершенно неслышно, не стукнув и не скрипнув ничем, оба они ушли, вокруг стало тихо и глухо, и Агеев впервые подумал, не окажется ли это пристанище западней. Всегда он очень боялся, как бы силою обстоятельств не оказаться загнанным в угол без малейшей возможности к победе или отступлению. Но вот, похоже, оказался именно в такой ситуации. Что стоит этой тетке Барановской позвать полицаев, и его, хромого, скрутят в два счета, сведут в полицию. Могут застрелить, могут отправить в лагерь для военнопленных. Конечно, тетка о нем ничего не знала, он не сделал ей ничего скверного, но ведь своя рубашка каждому ближе к телу, особенно в такой час. Зачем рисковать головой этой молчаливой тетке, которая наверняка знает, что ей грозит за укрывательство пришлого красноармейца.

Совершенно загнанным и беспомощным почувствовал он себя в эту летнюю ночь с гноящейся раной, по доброй воле или по глупости давший себя запереть. Правда, у него был пистолет и два полных магазина к нему, на худой конец, можно было застрелить пару немцев и себя пристрелить тоже. Ну а если до этого не дойдет, как тогда? Как следовало держать себя перед полицаями, за кого выдавать? На нем была командирская форма, сильно заношенная и засаленная гимнастерка и синие диагональные бриджи, портупею он сбросил, когда они остались вдвоем с Молоковичем, но на красных петлицах было три прежних эмалевых кубаря – за кого же он мог себя выдать? Молокович предусмотрительно переоделся; на время, разумеется, по-видимому, будет разумнее переодеться в гражданское и ему, но много ли поможет гражданская одежда? Наверно, к ней нужны еще и гражданские документы, а где их взять?

Предчувствие скверного овладело Агеевым в этом темном закутке. Скоро, однако, чувство голода взяло верх, он нащупал на низком столике-ящике кусок черствого хлеба, несколько огурцов в миске и с жадностью стал есть, хрустя огурцом, пока от хлеба не остался маленький кусочек, наверно, его следовало бы оставить на завтра, подумал Агеев. Тем не менее он не мог остановиться и незаметно

для себя сжевал все без остатка.

Похоже, тут же и уснул – забылся тревожным, тяжелым сном до рассвета.

Раскрыв утром глаза, Агеев увидел над собой низкий, сколоченный из горбылей потолок, из таких же горбылей были и стены, светившиеся теперь множеством щелей и дыр. Агеев огляделся. Это был крохотный сарайчик-временка, пристроенный к бревенчатой стене хлева или сеней, куда вела низкая дощатая дверь, запертая на деревянную щеколду-закрутку. В одном конце его помещался топчан, на котором он проспал ночь, с покрытым дерюжкой ящиком возле ног, в другом лежал ворох свежего сена, и у стены сидела на гнезде серая курица, одним глазом пристально наблюдавшая за ним. В многочисленные щели бил солнечный свет, кое-где снаружи проглядывало освещенное солнцем сорное разнотравье, буйно разросшееся в огороде. Было тепло, покойно, где-то вдаль прокричал петух. Агеев попытался встать и едва не вскрикнул от боли – повязка на ноге сбилась, штанина присохла к ране. Он сел на топчане и, спустив брюки, обнажил болезненную, ставшую как бревно ногу, которая вся вздулась, побагровела выше колена; по грязной, в подтеках коже из раны сползло несколько мутных капель. Он стер их ладонью и вдруг испуганно замер: в неровных, набрякших гнилой сукровицей тканях

шевелился крошечный белый червь, рядом другой. Агеев с испугом раздвинул подсохшие края раны и увидел в ней множество крохотных шевелящихся тварей. Содрогаясь, будто в ознобе, он кончиком соломины стал выколупывать их, то и дело стряхивая на пол. Его не покидало испуганно-брезгливое чувство оттого, что живое человеческое тело пожирали эти копошащиеся паразиты. Но что он мог сделать? Все последние дни их бесприютного блуждания по лесам и дорогам у него не было даже бинта, чтоб перевязать рану, так вот и шел по жаре, нога с каждым днем распухала все больше, гноилась; не удивительно, что в ране завелись черви.

Слегка подрагивающими руками Агеев поправил повязку, перевернув тряпку сухой стороной, напряженно размышляя при том, как ему быть с этой раной, как лечить ногу. Без Молоковича он ничего не сделает, но вчера они даже не условились, когда Молокович навестит его снова. Видно, понадобится доктор. Только найдется ли тут какой-нибудь лекарь, на которого можно было бы положиться?

Стараясь не очень возиться на сеннике и не шуметь, он беспрестанно вслушивался во все звуки снаружи. Но снаружи вроде все было тихо. Вдруг совершенно неожиданно для него дверь растворилась, и через порог переступила маленькая

пожилая женщина в длинной юбке и темном, низко повязанном платке, чем-то напомнившая ему монашку. Обе ее руки были заняты ношей – закопченным чугуном, из которого приятно запахло свежесваренной, с укропом картошкой. Агеев осторожно подобрал раненую ногу.

– Вот завтрак вам, – сказала женщина, сухо поздоровавшись, и Агеев догадался, что это его хозяйка.

– Спасибо.

– Кали ласка. Молоко в кувшине.

– Спасибо.

Он думал, что она задержится, спросит о чем-либо или что-либо скажет, но тетка быстренько и молча повернулась к двери. Боясь, что он ее не скоро увидит, Агеев поспешно окликнул:

– Одну минутку! Если можно.

Хозяйка обернулась. Ее маленькое сморщенное личико с плотно поджатыми губами мало что выражало, и лишь во взгляде промелькнула твердость, близкая к суровости.

– Понимаете, мне бы доктора. Рана у меня, понимаете?..

Мельком взглянув на его вытянутую вдоль топчана распухшую ногу с мокрым пятном на продырявленной осколком штанине, хозяйка тихонько вздохнула и молча выскользнула из сарайчика, плотно притворив за собой дверь.

Недоуменно выждав минуту, Агеев потянулся к ящику в ногах, где дразнящими запахами исходила горячая картошка.

Завтракая, он старался не думать о ране, но и не мог отделаться от скверного, испуганно-брезгливого чувства, вызванного ее осмотром. Беспокойство его не проходило, думалось разное, но больше тревожное, с печальным концом. Если бы не эти черви, то с болью он бы как-нибудь сладил, боль уже потеряла остроту, он к ней притерпелся, ходить было трудно, но можно – прошел же он километров сто двадцать, наверно, смог бы пройти и еще. Но как бы не началось заражение, если завелись черви. К тому же в ране мог остаться осколок, а с ним дело плохо, с осколком хорошего не дождаться. Как бы не застрять тут надолго или вообще не сыграть в ящик. Он все время прислушивался к разрозненным, порой неясным, обманчивым звукам извне – ждал хозяйку. Должна же она зайти в этот закуток, как-то помочь ему. При этих мыслях он с грустью усмехнулся: дожил, называется, начбой – до полной зависимости от какой-то местечковой тетки! Но ведь действительно все теперь складывалось так, что судьба его определялась отношением к нему этой тетки. Превратная военная судьба, поставившая в его жизни все с ног на голову. Да и только ли в его жизни?

Запивая простоквашей из кувшина, он быстро проглотил картошку, дожевал хлеб – в этот раз всего небольшой ломоть. Поблизости все было тихо, за стеной лежал огород, обросший по межам лопухами и крапивой, улица была в отдалении, на том конце усадьбы, и с нее почти не проникало сюда никаких звуков. В покойной тиши дома он сразу услышал осторожные шаги в сарае – дверь нешироко приотворилась.

– Вот переодеться вам.

Хозяйка положила на конец его топчана небольшой сверток, развернув который, он обнаружил черную сатиновую рубашу, красиво вышитую по воротнику синим шелком. «Что ж, спасибо!» – в мыслях запоздало поблагодарил Агеев, так как тетка уже скрылась за затворенной дверью. Пожалуй, она была ему в самый раз, эта нарядная сорочка, но он помедлил снимать свою измятую пропотевшую гимнастерку, столько вынесшую вместе с ним за лето. Это было обычное хэбэ с накладными карманами и красными командирскими петлицами, в которых мерцало по три рубиновых кубика. Третий кубик привинтил только за три месяца до начала войны, а ждал его три долгих года – в течение всей своей командирской службы после училища. На рукавах краснели углами галуны-нашивки, соответствующие его званию. И вот от всего этого

приходилось отказываться, менять на какую-то гражданскую рубаху с цветочками по воротнику. Но, видно, поменять придется, иначе как ему выйти отсюда в этом его командирском обмундировании?

Он решительно стянул с себя гимнастерку, выбрал из карманов документы, подумав, сунул их под сенник. Потом накинул мягкую, приятно облегающую тело рубаху, ворот застегивать не стал, подпоясываться тоже. Гимнастерку вместе с ремнем и пистолетом положил в изголовье. Теперь из военного обмундирования на нем оставались только темно-синие командирские бриджи. Разношенные яловые сапоги вполне могли сойти за гражданские, о сапогах он не беспокоился. А о брюках побеспокоиться все же придется, брюки могли его подвести.

Ему давно хотелось выйти во двор, но он медлил в нерешительности, прислушивался. Было неизвестно, кто тут обитает поблизости, кто еще есть у этой Барановской. Кого ему следовало опасаться? Все-таки нелюдима она какая-то, эта его хозяйка, подумал Агеев, нет чтобы рассказать самой, видно, придется расспрашивать. Расспрашивать он не любил, особенно малознакомых. Впрочем, как и рассказывать о себе. Общение без нужды не доставляло ему удовольствия, наверно, под стать ему попалась и его хозяйка.

Он еще не набрался решимости покинуть на время свое пристанище, как за стеной в сарае послышалось движение, сдержанные голоса, дверь широко растворилась, и через высокий порог перешагнула немолодая полногрудая женщина в черном жакете, с собранным на затылке узлом седоватых волос. Испытующе взглянув на него, она густодохнула махорочным дымом от самокрутки в зубах и поставила на ящик небольшой обшарпанный саквояжик.

– О, где он устроился! Хорошо, свежий воздух, правда? Ну, здравствуй, парень!

– Здравствуйте, – слегка смущенно сказал Агеев, приподнимаясь на топчане. Он не сразу понял, за кого она его принимает, но ее простота в обращении настраивала на легкий, общительный лад.

Хозяйка молча стояла у порога, незнакомка еще раз два второпях затянулась и, бросив окурочок наземь, старательно затерла его ботинком.

– Ну так что? Болечка?

– Да вот немножко, – сказал Агеев, догадываясь, что, по-видимому, это докторша.

– Немножко – пустяки. Теперь немножко не считается.

Подойдя к топчану вплотную, она обхватила его ногу у щиколотки и резко согнула в колене. Агеев дернулся от боли.

– Да-а, – неопределенно сказала женщина. – Барановская, несите воды.

– Теплой?

– Горячей. И полотенце тоже.

– Сейчас принесу, Евсеевна.

Хозяйка выскользнула за дверь, Евсеевна, раздумывая, выждала немного и, изучающе уставясь на него, спросила:

– Военный?

– Военный, – сказал Агеев, глядя в ее настырные, казалось, всевидящие глаза.

Под взглядом таких глаз говорить неправду было рискованно, он почувствовал это сразу.

– Ох-хо-хо, хо-хо! – горестно произнесла женщина, скорее, однако, в ответ на какие-то свои мысли. – Ну, снимай штаны.

– Совсем?

– Совсем. Чего стесняешься? Или больно стеснительный?

– Да я ничего, пожалуйста, – сказал он и, сидя, с преувеличенной решимостью стащил измятые брюки.

Евсеевна тем временем раскрыла свой саквояж, позвякивая инструментами, достала большие ножницы. Он принялся развязывать свою повязку, но докторша, ловко поддев ее, разрежала пополам и брезгливо отбросила в сторону.

– Да-а, картинка!

– Картинка, – согласился Агеев. – И, знаете, черви!

Он думал, что это его сообщение удивит или даже встревожит докторшу, однако на полном нахмуренном лице ее с темными усиками над верхней губой не дрогнула ни одна жилка, видно, ее занимало другое.

– Червячки – это ерунда! – сказала она, несколько раз ковырнув рану длинным пинцетом. – Червячки – это даже неплохо.

«Что же может быть хуже?» – раздраженно подумал Агеев.

– Но, знаете, я испугался...

– Не надо пугаться. В жизни вообще вредно пугаться. В войну тем более. Вот так, молодой человек!

– Это конечно.

– Вот именно. Осколок? – она снова, испытующе посмотрела ему в глаза.

– Осколок.

– Это похуже. Придется рассечь.

– Что рассечь? – не понял Агеев.

– Рану, конечно. Барановская! – хриплым баском позвала докторша, обернувшись к двери.

Молча зайдя в сарайчик, хозяйка поставила наземь чугунок с водой, положила на ящик чистое полотенце и отступила к двери, спрятав под темный передник маленькие сухие руки. Евсеевна отерла

полотенцем вокруг раны, Агеев слегка поморщился – прикосновение ее руки отозвалось ощутимой болью.

– А ну ляг и отвернись, – приказала докторша. – Нечего смотреть, не маленький.

Он вытянулся на топчане, слегка отвернув голову, вперив взгляд в щелястую стену. Евсеевна готовилась к операции – остро запахло лекарством, нашатырем, звякнули металлические инструменты в саквояже.

– Сейчас мы таво... Это дело простое. Не успеешь почувствовать...

Острая боль в ране до кости пронизала ногу, Агеев дернулся, скрипнул зубами.

– Что, больно? – недовольно оборвала его стон Евсеевна. – Не ври! Это не больно. Это ерунда, комариный укус.

Он снова дернулся от такой же пронизывающей боли, но удержал себя, чтобы не застонать, закусил губу.

– Так, так... это ерунда... Да, тут набралось... Почистить надо. Так, это туда, это сюда... – приговаривала Евсеевна, ковыряясь в ране, и Агеев собрал в себе все силы, чтобы стерпеть без стога. Больно было зверски, всю ногу до кончиков пальцев резала глубинная боль, но, кажется, он стерпел. – Во-о-о-от! – довольно протянула докторша. – А теперь будет немножко того... Вроде

комариного укуса будет. Может, чуть-чуть больше.

Не сразу сообразив, что она имеет в виду, Агеев на секунду расслабился, и в тот же момент резкий болевой удар мощно отдался во всем теле. В глазах у него померкло, он напрягся, обеими руками вцепившись в края топчана, словно боясь сорваться с него. И новый удар повторил прежний, потом что-то в ноге потянулось, напряглось и вдруг разом высвободилось.

– Вот, полюбуйся, какая железяка!..

Весь в холодном поту, Агеев приподнял голову – Евсеевна в кончике пинцета держала перед ним небольшой продолговатый осколок с зазубренными краями.

– Хорошо, что кость не задел. Еще бы на сантиметр – и плохо было бы твое дело, сынок, – сказала Евсеевна и швырнула осколок в угол за сено.

Агеев лежал, к своему удивлению, совершенно лишенный сил, отирая с лица обильно стекавший пот, руки его мелко тряслись, и он едва выдавил из себя «спасибо». Хозяйка его, которая в течение всей операции стояла за спиной докторши, все приговаривала что-то, чего он не мог слышать, и Евсеевна ее оборвала:

– Да перестаньте вы, Барановская! Больно! Что это за боль! Для такого мужика!

– Что ж, что мужик? Всем больно, – тихо

отозвалась Барановская.

Докторша между тем обрабатывала рану. Бросая на пол окровавленные клочки ваты, обтерла ногу, потом засунула в свежий разрез раны мокрый ледящий тампон и, ловко орудуя сильными руками, туго перевязала бедро.

– Вот так! Скоро танцевать будешь.

Побросав в раскрытый саквояж инструменты, она присела в ногах и принялась сворачивать сигарку. Барановская тем временем прибрала чугунок, полотенце и, хотя было тепло, накинула на обнаженные ноги Агеева старенький вытертый кожушок.

– Это что за боль! – выдохнула Евсеевна густым дымом. – Вон Султанишку молодую спасала. Полночи возилась, пришлось сечение делать. С этими вот инструментами! Парень на пять кило вывалился, а Султанишка, вы же знаете, – муха! Соплей перешибешь.

– Жить хотя будет? – насторожилась Барановская, хмурясь своим морщинистым личиком.

– Ни черта ей не сделается. Бабы живучие.

– Не говорите, Евсеевна. Бабы ведь тоже люди.

– Люди, конечно! – вздохнула докторша. – Но теперь вон беречь мужиков надо. Война идет!

– Беречь всегда всех надо. Каждому одна

жизнь суждена, – сказала Барановская мягко, но с заметной убежденностью, на которую докторша уже не возразила.

– Если бы ваши слова да богу в уши. Чтобы он остановил этих варваров.

– Он не остановит. Это уже дело мирское.

– Вот я и говорю. Мужики должны, – сказала докторша и умолкла.

Агеев глядел сбоку на полную, грудастую фигуру Евсеевны и не знал, как благодарить эту женщину. Он уже понял, что она акушерка. И если бы он понял это сразу, еще неизвестно, дался ли бы он ей для операции. Но теперь, так или иначе, дело было сделано, самая острая боль осталась позади, а главное – извлечен осколок, который едва не оставил его без ноги...

– Спасибо, доктор, большое...

– Не за что. Бог отблагодарит. Да вон Барановская. А ну, гражданка, гоните десяток яиц, – с нарочитой грубоватостью сказала Евсеевна и засмеялась.

– Яиц нет, всего одна курочка осталась, но чего-нибудь поищу, – подхватила хозяйка. Однако Евсеевна тут же остановила ее грубым голосом:

– Ладно, не старайтесь! Обойдусь без яиц. Вон у вас есть кого яйцами кормить.

Нещадно дымя самокруткой, она повернулась

к двери, но, прежде чем выйти, вынула изо рта сигарку.

– Ну, поправляйся. На днях загляну. Перевязка потребуется.

Он кивнул на прощание, и обе женщины вышли, впереди самоуверенная Евсеевна, за ней черной мышкой бесшумно прошмыгнула его хозяйка. Агеев остался один. В сарайчике потемнело, лучи в щелях исчезли, солнце, наверно, повернуло за угол. Нога зверски болела от колена до верхушки бедра, но теперь появилась надежда, и он думал, что, может, еще как-нибудь обхитрит судьбу и вырвется из ее кровожадных когтей.

Остаток того дня он мучительно боролся с болью, которая властно охватила всю ногу – от стопы до бедра. Его стало познабливать – похоже, начинался жар. Кажется, так не болело даже в первые часы после ранения, или, быть может, в горячке разгрома он не замечал боли, все время находясь в действии, в лихорадочной смене событий. Теперь же события отошли в прошлое, Агеев обрел хотя и тягостный, но все же относительно безопасный покой, и потревоженная рана отозвалась резкой злой болью. После ухода Евсеевны он глубже натянул на себя кожушок и так и лежал в полудреме, временами содрогаясь от озноба. Дверь несколько раз тихонько приотворялась, но он не раскрывал глаз, и дверь

опять бесшумно затворялась – тетка Барановская не хотела его тревожить. Однажды, раскрыв глаза, он обнаружил на ящике в ногах прикрытую чистой тряпицей миску, горбушку хлеба возле нее, но подниматься не стал, было не до еды. На несколько минут он забылся или заснул горячечным, полным знойного тумана сном и опять проснулся оттого, что, как ему показалось, в сарайчик кто-то вошел. Он поднял странно отяжелевшие веки и не сразу понял, что это хозяйка, которая, сцепив на переднике руки, тихо спрашивала:

– Может, вам супчику сварить? Картошки?

– Нет, спасибо. Водички...

– Водички? Я счас.

Она выскользнула из сарайчика, и Агеев снова заснул или впал в забытье, когда действительность тонет в туманной суеде теней, откуда-то из дальних закутков памяти выплывает прошлое, все странно перемешивается в мутном сознании, лишая его конкретности и определенности. В этом тумане откуда-то вышел командир стрелкового полка майор Попов, который неизвестно куда пропал во время их ночного прорыва из-под Лиды. Теперь он был в полной командирской форме с двумя кавалерийскими портупьями на плечах, планшеткой, противогазом на широкой матерчатой ляжке через плечо и решительно командовал батальонами, стоя по пояс в ровике на высоте с

кустарником. Агеев, находящийся тут же, несколько раз порывался доложить майору, что их окружают немцы, но почему-то не мог найти в себе силы произнести эти несколько слов, а майор гневно распекал кого-то за перерасход боеприпасов, за то, что стреляли, черти, не по тем мишеням. Между тем Агееву было видно, как по полю бегут немецкие автоматчики, они были уже рядом, а майор все не мог замолчать, и у Агеева словно отнялся язык – он не мог произнести ни слова. Он очень страдал, мучительно переживая свою непонятную немощь в предвидении того, что неминуемо должно было произойти на КП. Чтобы не стать свидетелем катастрофы, усилием воли он вырвал себя из сна и с облегчением понял, что все это было за пределами действительности, все неправда, потому что приснилось.

За стенами его сарайчика, похоже, смеркалось, постепенно догорал летний день, в сумерках едва брезжили низкий прямоугольник двери в стене, несколько посуды на ящике в конце топчана, среди которых он различил кувшин и кружку. Очень хотелось пить, во рту все иссохло, но, кажется, озноб миновал, и он попытался встать, чтобы напиться. Это ему удалось, хотя и не с первой попытки. Стараясь как можно меньше тревожить ногу, он дотянулся до ящика, напился из кувшина, потом обессиленно откинулся на топчане

и прикрыл глаза.

С майором Поповым у него были непростые отношения. Иногда Агееву казалось, что злее человека, чем их командир полка, трудно отыскать на свете, иногда майор производил такое сердечное впечатление, что хотелось общаться с ним, не расставаясь. Он весь был на виду, этот майор Попов, и свои эмоции всегда выражал с предельной естественностью, хотя частая и резкая смена их, особенно в боевой обстановке, нередко озадачивала подчиненных. Впрочем, в те дни, когда он командовал полком, подчиненных в гораздо большей степени озадачивала обстановка, в которой оказался полк, дважды занимавший оборону и дважды оставлявший ее к концу дня. Немецкая авиация жестоко бомбила тылы, дивизия лишилась снабжения, и, когда к исходу третьего дня стало ясно, что они в окружении, все перемешалось и перед фронтом полка, и, что особенно было скверно, в ближних тылах, забитых отступающими частями, тыловыми подразделениями, гражданским населением, бегущим от немцев. Полк нуждался в боеприпасах, и после длительных поисков в ближних тылах Агееву удалось наткнуться на неизвестно кому принадлежавший артсклад, расположенный в укромном, очевидно, пустующем фольварке, который, однако, нещадно бомбили немцы, что,

впрочем, и указало на него Агееву. Свернув на полуторке с пыльной гравийки, Агеев подъехал к этому фольварку, когда там все горело – хозяйственные и жилые постройки, конюшни, поодаль в дымящихся развалинах лежал каменный дом, и немецкие самолеты, учинившие этот разгром, один за другим уходили над лесом на запад. Остановив в начале липовой аллеи свою полуторку, Агеев побежал разыскивать начальство склада, но нигде никого не мог отыскать, длинные штабеля боеприпасов в конце яблоневого сада были разбиты и разбросаны среди деревьев, некоторые горели, и всюду стлался горький удушливый дым пожарища. Вдвоем с водителем автомашины Агеев принялся таскать из обгоревшего штабеля ящики с винтовочными патронами, прихватил несколько ящиков гранат, которые ему подвернулись под руку. Однако не успели они загрузить и половину машины, как самолеты налетели снова. Передний пикировщик, включив сирену, с оглушающим воем ринулся на горящий фольварк и высыпал серию бомб на еще уцелевшие штабеля боеприпасов. Другие сыпанули свой груз на аллею, где в тени лип пряталось несколько пустых грузовиков; две машины сразу же загорелись, одна была отброшена взрывом с дороги и завалилась набок в канаве. Сотрясая воздух, взрывы бомб, казалось, до преисподней взламывали землю, в воздухе

носились пыль, опали комья земли, вихрями взмывала опаленная листва лип. По существу, это была первая серьезная проба огнем, в которую попал Агеев; порой страх в нем граничил с ужасом, близкие разрывы бомб причиняли прямо-таки физическое страдание. Агеев начал забывать, где он и что с ним происходит, и только в глубине его смятенного сознания жило, ни на минуту не покидая его, чувство цели, невыполненной задачи, которую он должен выполнить. И он, то падая, то вскакивая, отбрасываемый в стороны разрывами, все-таки загрузил машину в беспорядке набросанными в кузов ящиками и погнал ее в полк. На его счастье, водитель попался с опытом — немолодой уже человек, прошедший войну с белофиннами. Сцепив зубы, он безропотно выполнял все команды Агеева и уверенно вел машину по разбитой дороге. В поле их обстреляли, несколько минных разрывов по обе стороны от дороги обсыпали машину комьями земли, но все-таки они благополучно проскочили открытое место и вскоре достигли деревни, которую оборонял полк. На скотном дворе с оборой² их уже ждали подносчики боеприпасов из батальонов, сразу же обступившие машину. Но не успели они ее

² Коровник.

разгрузить, как деревня подверглась жесточайшему артобстрелу – хорошо, что под каменной стеной оборы были вырыты щели, в одной из которых нашли пристанище Агеев и шофер. Он уже не надеялся остаться в живых. Два снаряда попало с противоположной стороны в обору, но ее каменные стены выдержали, защитив собой бойцов в щелях и даже полуторку, предусмотрительно подогнанную к самой стене. Когда все немного утихло и бойцы повывлезали во двор, Агеев стал приводить себя в порядок, отряхиваясь от пыли и песка, набившихся во все складки одежды. В это время возле оборы появился молодой красноармеец с винтовкой, в высоко накрученных на худые голени обмотках – командир полка вызывал его на КП. Командный пункт майора Попова располагался на той стороне деревни, в конце огородов, прошлой ночью Агеев ходил туда и теперь по истоптанным и изрытым воронками грядкам побежал напрямик к знакомому ровику под двумя грушами.

Командир полка был в глубокой запыленной каске, скрывавшей глаза, но по тому, как вся его тщедушная фигурка в ровике напряглась при виде подбегавшего Агеева, тот понял, что этот вызов добром для него не кончится. Сзади в деревне снова начали рваться мины, слышался залиvistый стук пулеметов в поле, частая стрельба, особенно справа, где к ржаному полю близко подступала сосновая

опушка леса. Агеев свалился в ровик рядом с командиром полка и не успел еще доложить о прибытии, как майор сразил его убийственно грубым вопросом:

– Ты начбой или тупая жопа?

Агеев молчал, лихорадочно соображая, где допустил промах, а командир полка все с большим ожесточением повторял свой скабресный вопрос. И тогда стало ясно, что отвечать на него нет надобности – следовало молча получить взыскание. Но за что? Начальник штаба полка, оторвавшись от телефона на дне ровика, также с гневным осуждением сообщил:

– Во втором батальоне тоже – два ящика с рукоятками и ни одного с головками.

Наконец Агеев понял, где допустил оплошность, которая ему может дорого стоить: не разобравшись, он погрузил в машину несколько ящиков с рукоятками от «РГД», ящики же с головками остались на складе, наверное, в другом или разбомбленном штабеле. Согласно инструкции хранения боеприпасов в мирное время обе части разборных гранат надлежало держать отдельно – во избежание диверсии.

– Вы обезоружили полк! Вы сорвали оборону! Вас надо под трибунал! Я вас сейчас расстреляю!..

Майор схватился за кобуру, пытаясь выдернуть из нее пистолет. Агеев, не

шелохнувшись, стоял напротив, готовый принять любой приговор, он и в самом деле не находил себе оправданий. Но в этот момент начштаба склонился к телефонному аппарату и встревоженным голосом окликнул командира полка:

– Вас ноль-первый!

Агеев не знал, кто был ноль-первый, но сразу почувствовал, что это была передышка, почти спасение. Майор с пистолетом в одной руке потянулся к трубке, а начштаба решительным жестом дал Агееву знак, чтобы тот немедленно убирался. Не заставляя себя уговаривать, начбой, пятась, перешагнул через склоненную спину связиста и скрылся за поворотом ровика. Потом он выпрыгнул на открытое и по истоптанному огороду побежал к оборе. Он уже знал, что должен был сделать, чтобы если не обелить себя целиком, так хотя бы смягчить приговор майора Попова.

Обстрел деревни между тем продолжался, мины с душераздирающим воем проносились над головой и рвались между хат, на огородах и особенно густо на выезде из деревни, где находилась его полупорка. К счастью, она была цела, и Агеев, крикнув водителю, вскочил в кабину. Они быстро развернулись на закиданном землей скотном дворе и, не обращая внимания на обстрел, понеслись по гравийке к горящему за лесом фольварку.

На этот раз немецких самолетов здесь не было, хотя не было уже и фольварка, на месте аллея лежал бурелом из обломанных и вывороченных с корнями лип, весь сад был изрыт воронками, уцелевшие яблони стояли с голыми, без листьев, ветвями; штабеля под ними частью сгорели, частью взорвались, вокруг валялись снаряды, латунные гильзы, упаковка, доски от тары. Но какая-то часть боеприпасов все-таки уцелела, и Агеев, подбежав к остаткам штабелей, порадовался: оказывается, не так просто даже для авиации уничтожить большой склад боеприпасов. Они с шофером побежали по разметанным завалам всевозможных ящиков со снарядами, противотанковыми и противопехотными минами, размотанными лентами крупнокалиберных зенитных патронов, которые им были ни к чему. Агеев старался найти знакомые зеленые ящики с головками от «РГД», но их нигде не было – может, взорвались, а может, прихватили по ошибке из других полков. И тут на краю обгоревшего с угла штабеля он увидел деревянные ящики с черной маркировкой, это были гранаты «Ф-1», или, как их называли бойцы, «лимонки». Обрадовавшись неожиданной находке, он крикнул шоферу и, подхватив в обе руки по ящику, побежал к машине.

Этими гранатами они загрузили почти весь кузов полуторки, вдобавок прихватили несколько

ящиков винтовочных патронов и снова рванули по разбитой гравийке к своему полку.

Тем временем день незаметно перешел в вечер, поля подернулись сизой туманной дымкой. За лесом в стороне деревни грохотал сильный бой, и, как показалось Агееву, в этот раз почему-то ближе, чем днем. Скверная догадка осенила его, но, еще боясь поверить в нее, он остановил машину на обочине в небольшом соснячке, где поодаль от дороги окапывались несколько красноармейцев, и выскочил из кабины. На его вопрос, из какой они части, первый боец ничего не ответил, словно немой, глядел на него исподлобья, второй сказал, что это военная тайна, которую он не может разгласить незнакомому командиру, и только третий, стриженный белобрысый боец, видно, признав его, объяснил:

– Да из второго батальона мы, товарищ начальник боепитания.

– Как из второго? Второй батальон был в деревне.

– Был, да отступил. В окружении мы.

«Вот те и раз! – сокрушенно подумал Агеев. – Час от часу не легче!» Он побежал вдоль цепи и вскоре от знакомого командира роты узнал, что второй батальон по приказу отошел из деревни, а первый и третий почему-то замешкались, не успели выполнить приказ и теперь ждут темноты, чтобы

прорваться из кольца. Командир со штабом полка тоже находится в деревне, готовит прорыв; второй батальон будет прикрывать их из этого соснячка.

Агеев мог бы раздать боеприпасы бойцам здешнего батальона, у которых их тоже было не густо, но чувство вины перед командиром полка за утреннюю промашку заставило его думать, как прорваться в деревню. Было, однако, ясно, что, пока не стемнеет, сделать это вряд ли удастся, значит, надо дожидаться ночи. Но и в темноте – обманут ли они немцев, которые наверняка перекрыли дорогу? А если на полном ходу, на авось? «Авось» было испытанным средством, которое помогало, когда ничто другое уже помочь не могло. И Агеев решился. Надо было только уговорить шофера, от которого в этой попытке зависело все.

Они стояли на дороге возле машины, и, когда он сказал об этом шоферу, тот ничего не ответил, помолчал, поглядел в одну сторону, в другую, прислушался. За лесом и полем, где располагалась деревня, громыхал бой, вверху над соснячком временами проносились огненные трассы, ему оставалось проскочить каких-нибудь два километра, но на любом метре их могла настигнуть смерть. Агеев уже подумал, что шофер возразит, как тот вдруг спросил:

– Сейчас ехать? Или погодим?

– Нет, не сейчас. Надо подождать, –

обрадовался Агеев. – Еще полчасика, час – как стемнеет.

И вот наконец стемнело, прошло и еще минут двадцать. Стрельба в деревне вроде стала утихать, наверное, скоро два батальона полка начнут прорываться из окружения. Тянуть дальше было нельзя, и, кое-как успокоив себя, Агеев вскочил в кабину к уже сидевшему там водителю.

– Значит, так! Сначала потихоньку, а потом полный газ! Я скажу когда.

В совершеннейшей темноте они медленно тронулись по дороге, не включая фар, выехали из соснячка в чистое поле, где их днем обстреляли минометы и где теперь уже сидели немцы. Агеев высунулся из кабины и впился глазами в ночную темень, но в поле ни черта не было видно. Впрочем, не было видно и дороги, и он опасался, как бы шофер ненароком не угодил в кювет. Но шофер с особым, присущим только водителям чутьем и в темноте точно держал дорогу, тяжело нагруженная машина качалась на ухабах, двигатель безбожно громко ревел, и Агеев, сжав зубы, ждал первой очереди в бок, в лоб или сзади. Но очередей не было. Они проехали, может, километр или чуть больше, и тогда их кто-то окликнул с поля. Агеев не разобрал, что это был за крик – своих или немцев, – он только понял, что следом будет очередь, и, стукнув с размаху дверцей, крикнул шоферу:

– Гони! Быстро!

Машина рванула, его бросило в сторону, потом в другую, показалось, что они опрокидываются, но как-то выровнялись, и машина помчалась куда-то в темень. Сзади еще несколько раз крикнули, а потом ударила сверкающая очередь, обгоняя машину, понеслась по обеим сторонам дороги. Агеев испуганно шарахнулся, мелкое крошево стекла обсыпало грудь и лицо, резко звякнула металлическая обшивка кабины, но машина мчалась...

И только когда, скрещиваясь над машиной, из разных мест ударили светящиеся разноцветные трассы, машина стала резко сбавлять ход, забирая в сторону, к самой канаве. Агеев схватился за руль, стараясь вывернуть его вправо, но руль почти не поддавался, намертво зажатый в руках водителя, который навалился на него грудью и молчал. И тут машина остановилась.

Агеев вывалился из кабины, хватаясь за пистолет, едва не угодил на какого-то человека в кювете, который с сердитым матом увернулся от его каблуков, и Агеев понял: свои.

Да, это были свои, а тот человек, которого он едва не сшиб, был начальник штаба первого батальона старший лейтенант Корбовский. Они оба тут же бросились на ту сторону машины, выволокли из кабины грузное тело водителя и

тотчас опустили его на землю. Помощь водителю уже не понадобилась. Немцы в поле запоздало светили ракетами, но стрельбу прекратили. В промежутках темноты бойцы быстро разгрузили накренившуюся в канаве машину с двумя простреленными скатами, старшины распределили гранаты между группами прорыва. Когда все было закончено, из темноты показались несколько человек, они разговаривали, и Агеев узнал резкий, с хрипотцой, голос командира полка.

– Где Агеев? Позовите Агеева!..

Агеев встрепенулся, сразу весь подобрался – он не забыл, что ему недавно еще было обещано этим человеком, и теперь с обмершим сердцем шагнул к нему на деревенскую улицу.

– Я здесь, товарищ комполка!

– Ты, Агеев? Молодец, начбой! Ты нас здорово выручил. Спасибо тебе!

– Двадцать семь ящиков «лимонок», – тихо сказал кто-то из темноты.

– Двадцать семь ящиков! Вот как надо воевать! И доставил! Прорвался! Ну а мы что же, неужто не прорвемся отсюда? Бойцы мы или говнюки после этого! Начштаба, – тише сказал командир полка. – Надо его наградить. Вырвемся, оформите...

Они перешли улицу и скрылись в темноте, видно, пошли по цепи во фланговый батальон.

Агеев опустился в пыльную канаву, вдруг почувствовав, как измотался за этот проклятый день – без ночного отдыха, после стольких волнений. Его голова стала медленно клониться на грудь, и только он на минуту забылся, как тут грохнуло, ослепило – первый разрыв вздыбил поблизости землю, – немцы начали обстрел деревни. Он свалился в канаву, в которой, однако, долго лежать не пришлось – прибежал боец с приказанием явиться к командиру полка. Под обстрелом они оба побежали из деревни в поле, заполошно шарахаясь от близко громыхавших разрывов, и едва разыскали майора Попова, который лежал в свежей воронке на краю ржаной нивы. С группой командиров он готовил прорыв и, как только Агеев свалился в его воронку, встретил его злым упреком:

– Долго заставляете ждать вас, Агеев!

– Так я бегом...

– Не бегом – пулей надо!.. Вот! Будешь командовать правой группой прорыва. Ясно?

Агеев помедлил с ответом, потому что, хотя и требовалось отвечать без запинки, ему решительно ничего не было ясно. Скорее, все было совершенно неясно.

– Сорок человек, два пулемета. Ваш заместитель лейтенант Роговцев. Он в курсе.

– Есть! – вяло сказал Агеев.

– И напор! Напор, напор! – более спокойным, чем прежде, голосом наставлял командир полка. – Сразу навалиться, гранаты к бою, с ходу прорвать и – вперед! Сбор на северной окраине деревни Хотули. Понятно?

– Ясно, – снова без должного энтузиазма ответил Агеев, потому что не имел представления, где были эти Хотули, где противник. Разве что об этом знал лейтенант Роговцев.

– А коль ясно, по местам! В два ноль-ноль начинаем бросок.

Снаряды рвались в стороне, на том конце деревни. Кто-то тронул Агеева за плечо, и он догадался, что это лейтенант Роговцев. Они выскочили из воронки и, стегая сапогами в истоптанной ржи, побежали куда-то в сторону от деревни.

– В общем-то, сорок человек, – на ходу объяснял Роговцев. – Но двенадцать раненых. Четверых нести надо – еще восемь человек. По двое на носилки.

У Агеева разламывалась голова – от усталости, пережитого, от свалившейся на него непомерной задачи, которую неизвестно как выполнить. Было темно, в небе гуляли сполохи от ракет, которые пускали немцы на той стороне дороги, эти сполохи шатким, неверным светом едва освещали окрестность – поле, какие-то посевы,

отдельные редкие кустики, а где засели немцы, он не имел представления. Он боялся чего-то не успеть, не распорядиться как следует, потому что времени наверняка оставалось немного, вот-вот стукнет два часа ночи, когда надо вставать и начинать бросок. Бросок с двенадцатью ранеными...

Агеев не знал, как и с чего начать, кому и какую ставить задачу. Когда они прибыли к своей группе и Агеев различил в темноте несколько лежащих и сидящих на земле бойцов, он сказал просто:

– Братцы! Вы знаете наше положение?

– Ну знаем, – помолчав, ответил один из бойцов. На раненой руке у него белели свежие бинты перевязки.

– Положение аховое. Надо прорываться. Дружно, все враз, гранатами, штыками и – вперед! Раненых нести по два. Третий – для подстраховки. Надо распределить.

– Раненые распределены, – сказал лейтенант Роговцев.

– Тогда приготовиться. По моей команде...

Он достал из брючного кармашка свои «кировские», кто-то посветил фонариком. Было без двадцати минут два часа ночи. Волнение охватило Агеева с новой силой, через несколько минут в этом поле он снова схлестнется с жестокою силой огня, может, будет убит или ранен, но, главное, ему

надо прорваться с этой группой бойцов, иначе...
Иначе зачем же он сюда послан? Как он потом предстанет перед командиром полка, который поверил, что он может, что он лучше других? Ведь доверили командовать ему, а не кому-то другому. Нет, погибнуть теперь было не самое страшное – страшнее было не выполнить приказ, не суметь, опозориться. Этого Агеев позволить себе не мог.

Он то и дело поглядывал на часы и ровно в два вскочил; едва держась на дрожащих от усталости ногах, сдавленно бросил: «Вперед!» – и пошел в темноту по смятой, истоптанной ржи. Справа и слева от него тоже встали и пошли – неровной, изогнутой цепью, пригибаясь, оступаясь на неровностях и комьях земли. Сначала шли размеренно, не спеша, но постепенно темп движения стал нарастать, каждый страшился отстать, и вот уже почти все бежали по ржи, издавая отчаянный шум, который не на шутку тревожил Агеева. И все же в первые минуты немцы их не обнаружили; здесь, на фланге, даже не взлетали ракеты, и он робко подумал: может, все обойдется и им повезет прорваться без боя. Но только он так подумал, как откуда-то наискосок по верхушкам ржаного поля хлестнули огненно засверкавшие в ночи трассы, рядом кто-то тихонько вскрикнул, кто-то упал, убитый или спасаясь от пуль. И он, испугавшись не этих трасс, а того, что

все попадают под огнем, уже не таясь, ожесточенно закричал: «Вперед! Вперед!» – выстрелил в темноту из пистолета и что было силы побежал, заплетаясь ногами в жестких стеблях созревающей ржи.

По всей видимости, им повезло, на первых порах немцы их прозевали и обнаружили слишком поздно. Автоматные очереди разрушили тишину ночи, гроыхнуло несколько гранатных разрывов, еще ударил автомат, но это уже в стороне. Впереди было тихо, похоже, они одолевали линию обороны немцев или, может, прорвались в их тыл. Зато в отдалении слева, возле дороги из села, начался сильный бой, десятки пулеметных трасс неслись оттуда во всех направлениях, гремели гранатные взрывы, в воздухе заскулили немецкие мины. Там же почти непрерывно светили гирлянды немецких ракет, полосую ночное небо кручеными следами дымов, отсветы их шатко гуляли по полемому пространству, тускло освещая поле и путь группы на нем. Во время их вспышек Агеев окидывал взглядом рожь и поверх колосьев с удовлетворением схватывал быстрое, поспешное движение теней его бойцов. Все бежали, брели, исчезали во ржи и появлялись снова – кто как мог, выбиваясь из сил, до невозможности растягивая и смешивая боевой порядок. Но он ничем не мог помочь отстающим, надо было спешить, пока их не накрыли огнем, прорваться к этим Хотулям,

которые, судя по всему, были восточнее сожженного авиацией фольварка.

Они уже одолевали поле, впереди темнели кустики или, возможно, тот молодой соснячок, где развернулся выскользнувший из окружения второй батальон. Агеев уже придержал шаг, чтобы дать возможность остальным подтянуться. Он уже два с облегчением вздохнул, тем более что сильная поначалу перестрелка возле деревни вроде бы стала затихать – похоже, главная группа с командиром полка тоже прорвалась. И когда до соснячка осталось рукой подать, всего какая-нибудь сотня метров, плотный кинжальный огонь оттуда по всей его растянувшейся группе заставил их броситься наземь. Рожь здесь уже кончилась, под сапогами путалась-шумела какая-то ботва, похоже, они шли по свекловичному полю и попадали, где кого застал этот адский огонь. Огонь был столь плотный, что очереди шли в воздухе сплошным многослойным потоком, горячим ветром обдавая головы и спины бойцов, вжавшихся в твердую, иссушенную зноем землю. Они растерянно молчали, да и чем они могли ответить? Главная их сила была в гранатах, но для броска гранаты, наверно, было еще далеко. И тогда, минуту полежав и отдышавшись, Агеев понял, что еще несколько минут промедления, и они все и навсегда останутся тут, на этом свекловичном поле. Он сунул за пазуху пистолет и

схватил в обе руки по «лимонке».

– Встать! – заорал он что было силы, чтобы перекричать грохот боя. – Вперед!

Это был отчаянный бросок навстречу гибели. Наверное, под таким огнем уцелеть было невозможно, но все-таки и еще кто-то вскочил, пригнувшись, они побежали в мелькании трасс к опушке, на ходу швыряя гранаты. Близкие их разрывы ударили в Агеева пылью и дымом, оглушили, но он уже был на опушке и еще швырнул куда-то гранату. Гранатные разрывы громыхали и справа, потом почему-то сзади, похоже, и немцы стали метать свои длинные колотушки – одна пролетела над самой головой Агеева, и он едва успел отшатнуться. В то же время его сильно ударило по ноге выше колена, он даже подумал, что напоролся на какую-то рогатину на опушке, но нет, удар был чересчур сильным, ногу болезненно свело, как от судороги, и по штанине в сапог потекли горячие струи крови. Он упал – не от боли, от одной только мысли: не перебита ли кость? Тут же вскочил – нет, нога не подломилась, значит, кость была цела, но кровь продолжала течь, захлюпало в сапоге. Наверное, надо было остановиться, перевязать ногу, но момент для того был самый неподходящий – уцелевшие бойцы его группы втягивались в кустарник, которого тут оказалось совсем немного, узкий изогнутый

клинышек, потом снова пошли поля. И он бежал, припадая на левую ногу, с ним рядом бежали два или три человека, бежали сзади, но в ночной темени не было возможности рассмотреть, сколько их вышло из этих кустиков.

Кажется, они прорвались, стрельба сзади гремела все отдаленнее. Ракеты густо подсвечивали небо тоже поодаль, за соснячком сзади, впереди была темнота и тишь безмесячной летней ночи. Агеев пошел тише, он сильно хромал и вовсе не мог бежать. Все больше болела нога, да и не было уже сил – бойцы выдохлись и брели вразброд по полю, куда их вел командир. Все загнанно, угрюмо молчали.

Наткнувшись в темноте на едва заметную в поле дорожку с березками по сторонам, Агеев остановился. Надо было перевязать ногу, отдышаться, подождать отставших и раненых, чтобы всем вместе до рассвета выйти к Хотулям. В ту ночь под березками их собралось семнадцать, почти все были ранены, троих принесли на палатках.

Уже хорошо развиднело, когда они добрались наконец до небольшой прилесной деревушки Хотули, но никого из полка там не обнаружили. После нескольких часов ожидания стало ясно, что они оказались той единственной группой, которой удалось прорваться. Все остальные во главе с

командиром полка, напоровшись на значительные немецкие силы, полегли на свекловичном поле, даже не дойдя до соснячка. Эту весть принесли в Хотули несколько последних раненых, сумевших уйти от немцев.

Когда стало вечереть, Агеев построил остатки группы и повел их полевыми шляхами на восток, вдогонку за линией фронта.

Под Лидой они присоединились к группе майора из штарма, в которой оказалось несколько человек из тылов их разгромленного полка, и среди них его сослуживец лейтенант Молокович.

Глава вторая

В тот день полил дождь – собрался наконец в пору жаркого лета, когда пришло время убирать зерновые. Под вечер из-за кладбища поднялась иссиня-черная туча, деревья тягуче зашумели, вытянув вершины все в одну сторону, трепетная листва тополей вывернулась под ветер своей серебристой изнанкой. Агеев подумал сперва: пронесет, перегонит хмарь и опять будет солнце. Он не хотел вылезать из карьера, на сегодня осталось совсем немного – срыть голый бугор под западным склоном. Но первые крупные капли, хлестко стегнувшие его по спине, дали понять, что не пронесет, помочит как следует, и он, прихватив

лопату, выбрался из карьера. Пока бежал к палатке, дождь низвергался с ошалелой, прямо неистовой силой, ветер яростно рвал со всех сторон, он едва добежал до палатки и, пока развязал тесемки у входа, вымок до нитки. Пришлось переодеваться, выливать воду из ботинок.

Потом под густой перестук дождя по парусине до самого вечера сидел в палатке, дожидаясь, когда утихнет. Временами ливень вроде бы ослабевал, водяные потоки, которые он наблюдал через треугольную прорезь в палатке, будто редели, туманно проглядывала темная стена кладбищенских деревьев, каменная ограда внизу, но вскоре ливень начинался с новой силой, кладбище вовсе исчезало из виду. Перед палаткой по едва обозначенной в траве стежке стремительно неся к дороге мутный ручей, увлекая с собой клочья травы, насекомых, мусор, и Агеев подумал, что хорошо сделал, когда дня два назад обкопал палатку – не так для надобности, сколько для порядка, как прочитал об этом в молодежной газете. Впрочем, мелкая канавка не долго его спасала, где-то все же прорвало, и на полу палатки медленно расплылось широкое темное пятно. Накинув на плечи куртку, Агеев выбрался наружу.

Снова изрядно намокнув и уже не обращая внимания на дождь, он принялся прорывать новую канавку, отводя в нее угрожающий поток воды,

когда среди пляски дождевых струй возле кладбища увидел сгорбленную длинноногую фигуру в накинута на голову полупрозрачном обрывке полиэтиленовой пленки. Прыгая через лужи и потоки воды, несшиеся со склона, человек направлялся к его палатке, и Агеев скоро узнал в нем своего здешнего знакомого Семена.

– Го-го, привет! Не смыло тебя тут?.. Вот решил: проведу хуторянина.

– Не смыло, но подмывает. Залазь, не мокни.

Семен ловко распахнул одной рукой натянутый на плечи полиэтилен, согнувшись, на коленях забрался в палатку. Бросив лопату, следом влез и Агеев.

– Ну полило!.. Полило что надо. Вот кабы с весны. Летом кабы, а то теперь, на уборку. Совести у него нету, у бога того.

– Бог ни при чем.

– Ну не бог, так люди. Расколупали космос. Порядка нет. То сушит, то льет.

Гость, кряхтя и сморкаясь, устраивался в мокрой тесноте палатки, неуклюже подбирая под себя длинные ноги в грязных резиновых сапогах; на его тощей груди была желтая промокшая тенниска, из левого рукава которой странно, словно невпопад двигаясь, торчала иссохшая кулья со сморщенной на конце кожей. Ловко орудуя другой, казавшейся чересчур длинной, цепкой рукой, Семен вытащил

из брючного кармана блестящую поллитровку с красноватой жидкостью.

– Вот это самое... По случаю ненастной погоды.

Агеев, неудобно устроившись у входа на сбитой в комок одежде, внутренне поморщился – после второго инфаркта, случившегося год назад, он старался не пить ни вина, ни водки, но теперь, ощущая легкий озноб в мокром теле, подумал с решимостью: «Выпью! Будь что будет». К тому же это предложение малознакомого, тоже немолодого человека не показалось ему ни навязчивым, ни чрезмерным, скорее наоборот – располагало к общению и участию.

– Тару какую, – оглянулся Семен.

Агеев нашел в углу палатки небольшой пластмассовый стаканчик – для себя, для гостя же снял с термоса колпак-кружку побольше. Семен ловко подцепил зубами металлическую пробку с бутылки.

– Зубы сломаешь, – сказал Агеев.

– Не беда! Железо на железо. Выдержит! – ответил Семен и засмеялся – простодушно, совсем по-мальчишески, сверкнув металлическими зубами. Агеев смотрел на его пожилое, морщинистое, с вытянутым подбородком лицо и думал, что, пожалуй, они близки по возрасту, может, даже ровесники.

– А ты родом откуда? – спросил он, хотя уже знал, что Семен приезжий и живет в этом поселке несколько последних лет.

– Я? А смоленский, из-под Ярцева. Слышал?

– Слышал. Близко...

– Близко, – просто согласился Семен. – Я так считаю: что Смоленщина, что Беларусь – один черт. Бульбоеды. Ну, давай выпьем. Илья же сегодня.

– Вот как!..

– Илья наделал гнилья. И я тебе скажу: правильно подмечено.

Они выпили. Агеев не до конца, оставив в стаканчике на второй раз. Семен же за три крупных глотка вобрал все до дна и вытряхнул под дождь последние капли из кружки. Агеев подумал, что надо бы поискать чего-нибудь закусить, но гость схватился своей длинной рукой за туго набитый карман брюк и вытащил помятую пачку «Примы».

– Куришь? Нет? Ну так я задымлю.

Вскоре тесенькая низкая палатка наполнилась сигаретным дымом, Агеев незаметно пошире раздвинул брезент на входе, он был слегка насторожен и опасался, что Семен начнет расспрашивать, что он тут раскапывает. Но Семен ни о чем не спрашивал ни при их первом знакомстве, когда однажды утречком забежал в карьер прикурить, ни потом. Кажется, этот человек обладал нечастым в его возрасте легким,

общительным нравом и то ли из деликатности, то ли из-за отсутствия интереса к чужим делам не набивался с расспросами. Агееву это вообще понравилось.

– Руку где потерял? – кивнул он на его культю.

– На войне, где же! Руку что, руку потерял – жить остался. Мог жизнь потерять.

– Это конечно, – согласился Агеев.

– Точно. Рука, она перебита была, а держалась. Это в госпитале оттяпали. А вот тут похуже.

Сунув сигарету в зубы, он все той же рукой вздернул за подол безрукавку, обнажив широкую костлявую грудь с безобразным багровым рубцом в правом боку.

– Во садануло. Мертвым сутки лежал. Кровью истек, бушлат к земле приморозило, отодрать не могли. А ну ее! Давай-ка еще по махонькой.

Он подставил широкую кружку, Агеев налил ему и себе и, прежде чем выпить, подумал, что, по-видимому, больше не следует. Эту еще выпьет, и баста. Семен же с прежней ненасытной жадностью выпил до дна, глубоко затянулся «Примой».

– Гляжу, маловато берешь. Или опасаясь? – хитровато прижмурился он, в упор уставясь в Агеева.

– Опасаюсь, – сказал Агеев. – Уже, знаешь,

звоночек был.

– А, ерунда эти звоночки! У меня их сколько уже было. И счет потерял. А выпью когда, легче станет. Так, думаю, если бы не пил, давно бы уже землю парил.

– Ну это как сказать.

– Точно! Вон Шумаков Данила Васильевич – и звонков не было, и уж как стерегся. Вышел на пенсию, не пил, не курил. По утрам все руками махал, упражнения делал. Помер! Весной похоронили. На семь лет моложе меня.

– Кому как.

– Вот именно. Кому так, а кому этак. Я тебе скажу: кому чего хочется, тому того бог и не даст. А кому плевать на что-то, так того у него навалом. В жизни не надо быть жадным! – с нажимом заключил Семен.

Он заметно пьянел, и Агеев слегка подосадовал, подумав, что сейчас разговорится и придется его долго выслушивать, а он давно недолголюбивал хмельных болтунов. Однако Семен примолк, что-то в его легком настрое стало меняться, и он, докурив сигарету, тихо спросил:

– Фронтовик?

– Да как сказать, – слегка смешался Агеев. – В сорок первом пришлось, ранен был, а потом воевал в партизанах. Потом снова.

– В партизанах тоже не мед. Скажу тебе, под

конец войны воевать подучились, но что появилось – хитрость. Чтоб выжить! Выжить возможность появилась. Вот некоторые и схватились за нее. Хитрые которые... Давай, разливай остатки, чего там!

Агеев налил – снова себе немножко, остальное вылил в кружку, которую с готовностью подставил Семен. За палаткой ровно и споро шумел летний дождь, дым от сигареты нехотя тянулся к выходу. От выпитого вина Агееву стало теплее, с непривычки к спиртному появилось легкое кружение в голове и какое-то невольное расположение к этому разговорчивому гостю.

– Я, знаешь, к концу войны был уже нестроевой, – сдержанно сообщил Агеев, слегка задетый его вопросом. – Так что, как там было на фронте в конце, не знаю, не наблюдал.

– А я понаблюдал. На некоторых полюбовался. Один такой чуть на тот свет не спровадил. Енакаев фамилия, век не забуду.

Он сидел в палатке, чуть сторбясь, по-восточному скрестив мокрые, в сапогах ноги, привычно устроив на раздвинутых коленях здоровую руку. Эта рука больше всего выдавала его возбуждение, живо двигаясь длинной, с прокуренными пальцами кистью.

– Да, Енакаев... Старшина разведроты. Ничего, старшина был исправный, умел порядок

держат. Кадровый был служака, не какой-нибудь там из запаса. Дальневосточник. Я ведь тоже дальневосточник, действительную службу там прошел, на Хасане участвовал. Когда в сорок четвертом с пополнением пришел в дивизию, у этого Енакаева четыре ордена было. Строгий такой, но не придирчивый, не крикун по мелочам. И с ребятами мог быть свойским – ну там по сто граммов когда или покемарить лишний час. Известно, старшина, в его руках все. Офицеры, они больше о деле пеклись: разведка там, «языки»... Ох, эти «языки», чтоб им пропасть! Поползал я там по нейтралкам, потер живот. Иной раз, как станут, бывало, в оборону, каждую ночь. Ползаешь, ползаешь, с колен кожа послезает, ну приволокешь какого-то там фрица, думаешь: теперь хоть дадут выпасться. Где там! Не тот фриц, мало знает. Стемнеет – снова давай! А если у него налаженная оборона? Проволока, минные поля, ракеты, пулеметы. На Висле пять ночей ползали – ни в какую. Ближе подпустит, осветит ракетами и из пулеметов. Вожмешься в землю, лежишь, ждешь: вот перестанет. А он и не думает переставать, что ему, патронов жалко? Патронов, ракет у него горы. Ну и лупит. А у нас укрытия никакого, ровно, как на столе. Одно, что каски на головах. Вот лежишь и слышишь, как то справа, то слева хрясь-хрясь! Как скорлупа на орехе. И пуля вдоль тела до задницы.

Не знаю, как кто, а я на войне больше всего боялся такой вот пули – вдоль тела. Поперек – как-то не очень страшила: пробьет грудь или там руку, ногу, как-то привычное дело. А вот если лежащего вдоль – от макушки до задницы, – аж подумать страшно. Правда, еще и за живот боялся.

– За живот все боялись, – сказал Агеев. – Уязвимое место.

– Уязвимое, ничего не скажешь. Видел раненых, не дай бог. Главное – внутреннее давление называется. Там, в кишках. Даже от маленькой пулевой ранки как пырхнут наружу. Клубком. Синие, с кровью, и парок идет, если на холоде. Раненый, который в уме, их, конечно, назад в брюхо пихает. Где там! Уже точка. Если вылезли, твоя песенка спета, уже и доктора не помогут. Помню, один такой – молодой, рослый парняга – прибежал прямо в санбат. С поля боя верст шесть чесал, чтобы скорее, значит. Сделали операцию, зашили. Пожил три дня и откинул копыта. Заражение, никакой врач не спасет.

– Тогда же не было ни пенициллина, ни других антибиотиков.

– То-то же! Чем спасать? Врач, он ведь тоже не бог. Да потом что ж, с одним им возиться? Тут их сотня на очереди, когда бои, всех надо обработать, помощь оказать...

Первое возбуждение от вина, видимо,

проходило, Семен накурился и вроде бы стал спокойнее, рука на коленях стала двигаться сдержаннее. На темном от загара, морщинистом, вроде еще более постаревшем лице появилась легкая тень озабоченности, устоявшейся грусти от пережитого.

– Да, Енакаев к Висле имел шесть ранений. Это не шуточки. Изо всех выкарабкался. Жилистый мужик был, ничего не скажешь...

В тот раз мы шли за «языком» – третью ночь кряду. Только накануне приволокли двух фрицев, ну, думаем, теперь хоть отоспимся, обсохнем, накуримся. Черта с два! Оказывается, нужны новые данные, уже в стороне от обороны, на пойме, возле речушки заболоченной такой, черт бы ее побрал! Чуть она меня не угробила, эта речушка. Построили группу – семь человек. Четверо в группе захвата, трое – в прикрытии. Командир – старшина Енакаев. А, надо сказать, ребята у нас все молодые, правда, все уже обстрелянные, некоторые и награжденные, но молодые, что сделаешь. Только я да Енакаев постарше – мне шел двадцать шестой год, Енакаеву, кажется, около того было. Ну у молодых еще детства полно, форсу, такого, что, мол, нам наплевать на фрицев, повезет – притащим, погибнем – тоже наплевать, не мы первые.

Пошли после полуночи, темнотища – глаз выколи, ветер напористый, голое болото под

ногами, чуть-чуть приморозило, но все время проваливаешься, под сапогами чавкает, того и гляди, немцы услышат. Там, конечно, минное поле, наше и немецкое, саперы с вечера поработали, сделали проход. Какой там к черту проход – сняли несколько мин, и ползи. Хорошо, дождались, показали вешку – прутик такой поставили. «Ой, – думаю, – хорошо отседова – прутик, а как назад? Где его, этот прутик, найдешь в темноте?» Но молчу, знаю: такие мысли в такой момент высказывать не полагается. Поползли друг за дружкой. Впереди Енакаев, группа захвата, я был старшим в прикрытии. Ползли рывками. Немец ведь ракеты пускает одну за другой. Вот в короткие перерывы по темному и ползем. Как только пыхнет очередная ракета, голову в землю, только задница торчит, как кочка. Маскирует. Кочек там много было, это и выручало.

Словом, добрались до первой траншеи, слышим там разговор, не спят, значит, и – несколько голосов. Надо бы подождать. Все-таки ночь, утихли бы, послули, вот одного бы и взяли. Но не посоветуешь в такой момент, молчать надо, а Енакаев этот забирает в сторону, подальше от этих бессонных, туда, где потише. Оно, конечно, так казалось сподручнее. Но... Что-то мне стучает в голову: плохо делаем, не надо в сторону, подождать лучше.

Поползли. А тут еще, черт бы ее побрал, траншея куда-то отвернула в сторону, загогулиной в глубь их обороны; бруствер хоть и замаскирован, но чуть-чуть бугрится на фоне неба. Значит, вдоль траншеи ползем. Хуже некуда! Но пока все обходится, все-таки на расстоянии, может, метров за сто или двести от них. Потом подождали, притаившись, и четверо из захвата повернули к траншее. Мы прикрывать остались. Короче, через полчаса или через час, может, волокут на палатке фрица – оглушили, заткнули портянкой рот и волокут. Теперь надо смываться.

А времени, скажу тебе, все-таки прошло уйма, время в таких делах вообще плохо примечается, бежит оно или стоит, кто его знает. Как когда. Часов у нас не было, кажется, мы завозились, чересчур завозились. Гляжу назад, светлеет вроде краешек неба, как бы светать не начало. Ну хлопцев с «языком» пропустили, теперь мы сзади, значит, ближе к немцам. Откроют огонь – на себя его принять должны. А немцы под утро, видать, приуморились, ракеты стали реже взлетать, пулеметы, правда, постреливали туда и сюда, но не по нам. Нас еще не обнаружили. В общем, все чисто было сработано. Если бы не одно но. А это но там и оказалось, где я опасался: Енакаев-то проход через минное поле потерял. Оно ничего удивительного в такой темени да на заболоченной

пойме – никаких тебе ориентиров. Вешка! Ищи теперь эту вешку. После такой крутни по нейтралке.

Не знаю, кто там у него полз первым, тоже, наверно, такой же лопух, как этот Енакаев, только вдруг как шарахнет, аж земля заколыхалась. Сверкнуло, ослепило, и что тут началось! Как начали лупить по всей пойме – вдоль, поперек, крест-накрест, трассы, ракеты десятков сразу. Лежим ни живые ни мертвые, на огонь не отвечаем. Хорошо еще: мы на болоте и немцы на болоте, им тоже на ровном немного видно, рвануло, а где, толком не знают. Проморгали в ночи. Как чуток унялось, вижу, передние пошли, завияляли задами, поползли, значит. Думаю, авось вырвемся. Еще, может, метров шестьсот оставалось. И тут слева как шарахнет холодным ошмотьем по морде, глаза залепило, и снова огонь по всей пойме. Тут уж и наши ударили минометы по их передку, гудит и трещит, вся округа ходуном ходит. Но что делать нам? Сидим на минном поле, это и дураку ясно. А где теперь тот проход? Не встанешь, не оглядишься. И тут, на беду, край неба светлеет все больше – светает. Вот влезли так влезли. Влопались!

Полежали так, трошки оклемались, поворачивается Ящерицын, что передо мной полз, боец из захвата, кивает: к Енакаеву, мол. Вперед,

мол! Что еще за такое, думаю, под огнем перестраиваться, нашел время. Но делать нечего, пополз. Енакаев лежит в болоте, сам в грязи весь, рядом на палатке «язык». Енакаев сдавленно шепчет: «Семенов, вперед! Доставай финку и вперед!» Говорю: «А прикрытие?» – «Вперед!» – шипит и финкой трясет перед мордой, мол, посмей отказаться! Ну что ж, думаю, все ясно. Хотя по уставу я теперь должен быть сзади, но коль на мины налезли, то, конечно, Семенов, вперед! Семенов подрывайся, а Енакаев «языка» доставит. В целости и сохранности.

Делать, однако, нечего, пополз. С обиды финкой в кочки ширию по самую рукоять, вроде ничего – мягкая травянистая пойма. Прополз так, может, метров сто пятьдесят, как вдруг под ножом что-то твердое. Воткнул лезвие и боюсь выдернуть – черт ее знает, а вдруг рванет! И что делать? Обернулся, мина – шепчу. Енакаев машет, пригнувшись, мол, бери в сторону. Раз воткнул финку, второй, а третий уже не успел. Как в прорву огненную... Со всего маха. Только звон пошел куда-то, все дальше, дальше, и все стихло...

– Рвануло-таки?

– Рвануло. И что удивительно – боли никакой не почувствовал. Вроде придавило чем. И расплющило. Такое чувство. Слушай! – сказал вдруг Семен, сгоняя с лица выражение тягостной

озабоченности. – Давай слетаю еще за одной! А то что на сухую баить...

– А не хватит? – усомнился Агеев. – И дождь...

– Дождь перестает. Ну точно, реже стал, – сказал Семен, отстраняя парусину на входе.

Дождь еще сыпал, хотя, может, и не такой, как прежде, поток на земле возле палатки заметно иссякал, оставляя на траве намытые космы мусора, травяного сора, песка. Агеев понимал, что отговаривать в такой момент – напрасное дело. Семена теперь не остановишь. Он вылез из палатки и дал вылезти гостю.

– Я счас! Айн момент... – бросил Семен на ходу, одной рукой накидывая на плечи жесткий, непослушно вздувшийся на ветру кусок полиэтилена.

Дождидаясь Семена, Агеев сидел в палатке у входа, глядел, как в мокрой траве пляшут, снуют чуть поредевшие струи дождя, и думал: хорошо это или плохо, такое вот свойство человека – просто и открыто рассказать о себе первому встречному, подробно, обо всем, без утайки. Даже если где-либо и сам выглядишь не очень похвально, если где и ошибся. Конечно, по прошествии стольких лет можно позволить не очень щепетильничать с собственным прошлым, но все же. Он так не умел. Для него стоило немалых усилий над собой по

приезде в этот поселок объяснить по необходимости свой интерес к какому-то заброшенному карьеру, да и вообще свое отношение к поселку тех давних, военных лет. Всегда в подобного рода объяснениях есть что-то от неправды или претензии на что-то почти незаконное. Чужому и малознакомому запросто так не расскажешь. Но это он, Агеев. А вот Семен, оказывается, мог это с легкостью, и, странное дело, его рассказ не шокировал даже взыскательного слушателя, каким считал себя Агеев.

Он думал, что Семен задержится, все-таки центр поселка с магазинчиком «Вино-водка» был не очень близко отсюда, но Семен довольно скоро появился на углу кладбищенской ограды под небрежно накинутой на одно плечо пленкой. И по тому, как он без должной живости переступал по мокрой траве длинными ногами, Агеев догадался: не достал.

– Пусто! – будто прочитав его мысли, сказал, подходя, Семен и отбросил пленку. – Опоздал, сами выжрали.

– Ну что ж, так посидим, – обрадовался про себя Агеев. – Пока дождик сыплет.

Семен снова забрался в палатку. На этот раз Агеев уступил ему место у входа, сам отодвинулся вглубь, и гость сразу полез за остатками сигарет в измятой пачке.

– Не много ли куришь? – сказал Агеев.

– А черт с ним! Сколько протяну, буду курить. Что ж, врачей слушать...

Он опять закурил, и, хотя затянулся с прежней жадностью, сигарета не помогла ему скрыть легкую досаду на помрачевшем лице – наверное, от его неудачной вылазки.

– Жаль, но и у меня ничего нет, – извинительно сказал Агеев. Семен что-то буркнул неопределенное, и разговор их на время прервался. Чтобы как-то возобновить общение, Агеев спросил будто бы между прочим: – Ну а потом-то как? На той пойме. Или тебя разведчики вытащили?

– Жди, как же! – тотчас отозвался Семен. – Вытащат! Енакаев «языка» тащил. Еще одного разведчика подорвал. А у самой траншеи и его стрельнули. Свои. Потому что не на том участке выходил. Вот как!

– Да, это понятно. Спутал направление! Это на войне всегда худо.

– Не только на войне! – зло бросил Семен.

– Ну а ты? Сам выполз?

– Я? А я лежал без памяти, сколько, не знаю. Помню только, как-то раскрыл глаза и не понял ничего: лицо словно ватой обложено. А это пошел мокрый снег. Снежинки на губы падали, и я их слизывал, потому как внутри все горело. И такая мука, такая жажда!.. А потом приморозило. Хотел

двинуть рукой – черта с два. Не двигается. И зад не двигается. Бушлат-то примерз, все от крови там смерзлось. Вот и лежу. Хочу крикнуть и не могу. Нет голоса. Нет крика. И не могу понять, что случилось и где я. Память начисто отшибло. Сознание то вернется на минуту, то опять пропадет, видно, надолго. Потом показалось, вроде дергает кто-то, прислушался сквозь боль... Нет, это же бой идет, снаряды рвутся вокруг, ну меня и кидает с боку на бок. Потом все пропало – ни боя, ни снега. Наверно, долго лежал, а как очнулся, заметил: темно и слышу – голос! Тихий такой, будто издалека – это мне так показалось... а это он надо мной. Глаза чуть приоткрыл, человек склоняется все ниже, ниже, заглядывает вроде в лицо, а за ним с неба месяц светит, да ярко так – полнолуние было. Я уж хотел крикнуть от радости, что нашли, не оставили, но воздуху нет, в легких пусто, ничего с криком не вышло. А он, этот, что наклоняется, вдруг тихо кому-то: «Ист айн рус!» Вот те и обрадовался! Хорошо, что не крикнул, замер, лежу. Другой рядом тоже что-то по-немецки прогергетал, и этот лезет руками мне под бушлат, в карманы. А там пусто, махорки полпачки было, даже спичек не взял – все перед поиском в роте оставил. Шарит он этак, лежа рядышком, думаю, услышит, что живой, и прикончит. А вот не услышал, еще что-то сказал тихонько другому, забрали они мой автомат,

отброшенный поодаль взрывом, поползли куда-то. Может, к нашим, может, к своим. А я после страха и боли снова нырнул в беспмятство. Вроде бы даже и помер, не знаю.

– Скверная ситуация, – сказал Агеев, когда Семен замолчал. А тот выглянул из палатки, вроде прислушался к чему-то снаружи или, скорее, к тому, что шло изнутри, из его растревоженной памяти, и сделал непонятный жест все той же, свешенной с колена рукой.

– Самое скверное еще впереди. Ты слушай... Черт его знает, до сих пор не понял, сколько я там пролежал. Несколько дней, наверно. Потом подсчитывал, подсчитывал и сбился, не могу поверить. Получается, вроде шесть дней и ночей. Как только не околел. Кровью не сплыл. Не подох. Но вот снова очнулся, слышу, голоса. Да уже ясно, свои, гуторят смелей, и русский маток слышался. И светло, раннее утречко вроде. Хочу повернуться, чтоб увидеть, где они, мои спасители, что-то передо мной их не видно. И не могу повернуться – все примерзло к земле. И снежок лежит на груди, на губах и не тает. Я крикнуть хочу, и опять ни черта, вздохнуть не могу даже. Вот дела! Ни тпру ни ну. А они, слышу, гуторят: «Бердников, того, в бушлате, стащи!» – «Ну да, – отвечает этот Бердников. – На минах лежит». – «Мина взорвалась, вон ямка за ним». – «Одна взорвалась, так разве она одна тут?

“Кошку” давай!»

Бог ты мой, думаю, это ж они меня за мертвеца считают и теперь «кошкой» стаскивать будут. Что ж это такое... Но боль такая и слабость, и свет белый меркнет, то появится, то исчезнет. И воздуху в груди нет – пусто. Что тут поделаешь? Пусть тащат, взрывают, скорее бы. Чтоб долго не мучиться...

И что ты думаешь, подполз этот Бердников или еще кто, зацепил «кошкой» – крюк этакий у них (это ж саперы были) на веревке, – и как рванут... А подцепили за тот самый бок, почти в рану вогнали... Я как взвою, откуда и голос взялся. Хотя мне так показалось, что взвыл, они потом говорили, как несли на палатке, что застонал, они слышали. А мне сдалось, взвопил.

Ну и отвоевался на том. Шесть месяцев в госпиталях, последние три месяца под Москвой лежал. Потом – по чистой – домой. А дома-то нет. И руки нет. Инвалид в двадцать шесть лет. Но жить надо, что сделаешь... И вот, гляди ты, до шестидесяти четырех дожил. А Енакаева там за пригорочком закопали. Потом лейтенант говорил из нашего полка. В госпитале встретились.

– Да-а... На войне всегда трудно угадать, где напорешься, а где пронесет, – сказал Агеев.

– Потому и не угадывай. Не хитри. Все равно война хитрее тебя. Ее не перехитришь.

Дождь все не переставал, хотя первоначальный напор его заметно ослаб, на промокшую землю с неба сыпались некрупные капли, ветер вроде утих, и было, в общем, не холодно. Однако Агеев, слушая невеселый рассказ Семена, несколько раз с беспокойством подумал о карьере: хотя бы не залило. Зальет, что тогда делать? Ждать, пока высохнет? Или когда уйдет вглубь вода? Семен, чутко уловив скрытую тревогу Агеева, тронул его за колено.

– Слышь? Хочу поинтересоваться. Чего там копаешь? В карьере.

– Да так. Кое-что надо посмотреть.

– Потерял чего?

– Почти что. Жизнь едва не потерял, – сказал Агеев и пожалел, что сказал слишком много.

– А-а, – что-то понял Семен. – Ну ладно, больше не спрашиваю. У каждого человека должны свои секреты иметься.

Агеев виновато взглянул в его помрачневшее лицо, и ему стало немного неловко за собственную скрытность.

– Может, и так. Ну а у тебя как, тоже секреты имеются?

– Я секретов при себе не держу. Я их все разболтал. Все все про меня знают. Может, и плохо это. Может, я потому и непутевый такой. Ну да ладно. Хватит болтать.